
Борис Лавренев
Сорок первый

Борис Лавренев

Сорок первый

Рассказы

Москва
«Современник»
1986

Р2
Л13

Лавренев Б. А.

Л13 Сорок первый: Рассказы. — М.: Современник, 1986.— 96 с.

В сборник известиого советского писвтеля Бориса Лавреиева вошли рассквзы («Рассквз о простой вещи», «Сорок первый»), герои которых — бойцы революциониых отрядов, большевики, люди, беззаветно преданные делу революции, борющиеся за Советскую власть.

Л $\frac{4702010200-373}{М106(03)-86}$ 147—87

ББК84Р7
Р2

Рассказ о простой вещи

Кинематограф

Улица... Рассвет...
На стене косо и наспех наклеенный листок...

ЭКСТРЕННОЕ СООБЩЕНИЕ

Красные покидают город.
Части Доброармии вступили в предместье.
Население призывается к спокойствию.

Мимо листка проходит запыленный красноармеец. Тяжело волочит винтовку.

Видит листок... срывает с бешенством и внезапной злобой.

Губы его шевелятся... Ясно, что он с надрывом и длинно ругается.

Иностранец

Зеркало в облезлой рамке, с зелеными пятнами гнили на внутренней стороне, треснуло когда-то пополам, склеивали его неумелые руки, и половинки сошлись неровно, под углом.

От этого лицо резалось трещиной на две части, нелепо ломалось, и рот растягивался к левому уху идиотской гримасой.

На спинке стула висел пиджак, а перед зеркалом брился человек в щегольских серых брюках и коричневых американских, тупоносых полуботинках.

Голярня в пригородной слободке, между развалинами пороховых погребов, была невероятно грязна, засижена мухами и пропахла самогоном, грязным бельем и гнилой картошкой.

И такой же грязный и лохматый, не совсем трезвый, хозяин, неизвестно зачем открывший свое заведение в таком месте, куда даже собаки забегали только поднять ножку, обиженно сидел у окна и искоса смотрел на странного посетителя, который пришел ни свет ни заря, чуть не выбил дверь, отказался от его услуг и на ломаном русском языке потребовал горячей воды и бритву.

Пыльные стекла маленького окна вздрагивали ноющим звоном от приближающегося орудийного гула, и при каждом сильном ударе брившийся поглядывал в сторону окна спокойным, внимательным серым глазом.

В алюминиевой чашке, в снежных комках мыльной пены, золотыми апельсинными отливами блестели завитки сбритой бороды и усов.

Брившийся отложил в сторону бритву и намочил в горячей воде тонкий носовой платок. Обтер лицо и попудрил его, достав из брюк карманную серебряную пудреницу.

Потрогал пальцем гладкие щеки и круглую ямочку на подбородке, и рот его, твердо сжатый и резкий, вдруг расцвел на мгновение беззаботным розовым цветком.

Но окно опять заныло от орудийного удара.

Хозяин вздрогнул и, как бы очнувшись, сказал хрипло:

— Жарять!.. Зовсим блызко!..

— Comment?! Что ви гаварит?

Иностранец быстро повернулся к хозяину и услышал обиженное ворчание:

— Шо кажу?.. Наж-ж тоби!.. Пятьдесят рокив казав — люды розумилы, а зараз непонятково!.. Християне розумиют, а на бусурманина мовы не наховаешь!

— А! — протянул иностранец.

И, к вящему изумлению хозяина, вынул из кармана маленькую коричневую аптекарскую склянку, откупорил ногтем глубоко увязшую пробку и вылил на блюдце остро пахнущую жидкость. Намочил головную щетку н круглыми взмахами стал водить по прическе от лба к затылку.

Открыв рот, хозяин увидел, что намокшие золотистые волосы потускнели и медленно почернели.

Иностранец встал, вытер голову платком и тщательно расчесал пробор.

Пристегнул воротничок, завязал галстук и, когда надевал пиджак, услыхал нудный голос хозяина:

— От-то, оказия!.. Шо це вы з волосьями зробили? Чи вы мабуть кловун, чи ще яке комедиянство!..

Иностранец легко улыбнулся:

— Ньет!.. Я ньет клоун, я купца! Мой нмя Леон!.. Леон Кутюрье!..

— Воно и видать, що нехристь!.. И нмя в вас не людское, а неначе собаче... Куть... Куть... Скильки ще гамна на свитн!..

И хозяин с презрением плюнул на пол,

Леон Кутюрье снял с вешалки легкое пальто, нахлобучил на затылок котелок и сунул в руку хозяину крупную бумажку.

Тот захлопал ресницами, но, прежде чем он опомнился, иностранец был на улице и зашагал вдоль садовых заборов к городу, из-за далеких труб которого рачительным и румяным хозяином скосоурилось солнце.

Хозяин недоуменно смял деньги, мелкие морщинки его щек скрестились лукавой сеткой, он хитро посмотрел в окно, покачал лохматой головой и произнес веско и ясно:

— Неначе скаженный!..

«Au revoir, храбру jeune homme!»

Был погожий и теплый предосенний день.

Леон Кутюрье беспечно пошел по тротуару в том же направлении, в котором двигались кучки муравьившихся людей.

За широким раскатом настороженно опустелой улицы открылся старый парк, над кинутым вниз обрывом, а под ним лениво лизала пески и ржавые глины обмелевшая, зеленоватая река.

Над самым обрывом белесой лентой легла аллея, огороженная чугунной резной решеткой, осененная столетними широколапыми липами.

Решетка взбухла грузом прижавшихся и повисших на прутьях человеческих тел.

На другой стороне реки, в заречье, покрытом прожелтью камышей, изрезанном синими змеями ериков, по узкой гати двигались кучки крохотных рыжих букашек, поблескивая по временам металлическими искорками.

Когда Леон Кутюрье, беспрестанно извиняясь, приподымая котелок, протиснулся к решетке, издалека, слева, оттуда, где был вокзал, тяжко и надсадисто грохнули четыре удара, высоко вверху запел звоном и визгом разрезанный воздух, и над далекой гатью, на синем мареве сосняка, высоко вспухли четыре белых клубка.

Ахнула общей грудью облепленная людьми решетка:

— А-аах!..

— Перелет,— сказал крепкий и уверенный голос.

Но не успел еще кончить слова, как взвыл снова воз-

дух, и белые клубки повисли над самой гатью, закутав се плотной пеленой.

— Вот это враз!.. Чисто сделано!

Рыжеватый и плотный, в золотом пенсне, стоявший рядом с Леоном Кутюрье, плотоядно облизнулся.

Стало видно, как засуетились на гати рыжие мурашки.

— Ага, не нравится! Попадет сволочам!

— Жаль, удерут все же!

— Ну не все!.. Многие влипнут!

— Молодцы корниловцы!..

— Всех бы перехлопать!.. Хамье, бандиты проклятые!

Шрапнельные разрывы учащались, ложились гуще и вернее. Пожилой человек в широком пальто, стоявший об руку с хорошенькой блондинкой, повернулся к Леону Кутюрье.

— Как это называется... вот чем стреляют?

— Шрапнель, мсье!.. Такой трубка, который имеет много маленька пулька. Очень неприятна! Trés désagréable!

Старик опять впился в горизонт. Блондинка, распушив губы и обещающе взмахнув длинными ресницами, улыбнулась Леону Кутюрье.

— Это картечное действие? — спросила она, видимо радуясь и гордясь специальным термином.

— Oui, madame! Картешь!..

Леон Кутюрье прикоснулся к котелку и отошел от решетки. Оглянувшись, увидел разочарованный взгляд, весело послал воздушный поцелуй и пошел по аллее, сбивая тросточкой мелкую гальку.

Спустился по песку к воротам, на которых тусклым золотом сверкал императорский, распластавший геральдические крылья орел. Обе головы ему сбили камнями досужие мальчишки.

Очутившись на улице, направился к спуску в гавань, но услыхал сзади переплеск криков: «Смотрите!.. Едут!..» — и звонкий грохот копыт мчавшихся лошадей.

Леон Кутюрье остановился на краю тротуара и взглянул вдоль улицы.

Высоко взбрасывая белощеточные ноги, брызгая пеной с закушенного мундштука, впереди разъезда кавалерии, коней в тридцать, летел золотисто-рыжий, почти оранжевый, английский скакун, легко неся седока.

Молодой, разрумянившийся от скачки, азарта и хмеля удачи тонкий офицерик держал в опущенной руке обнажен-

ную шашку, и за его спиной вихрем метались длинные концы белого башлыка.

Он резко осадил коня на задние ноги у фонарного столба, прислонясь к которому стоял Леон Кутюрье, и оглянулся, как будто ища нужное лицо на тротуаре.

Очевидно, спокойная поза иностранца и хороший костюм произвели на него должное впечатление, и, перегнувшись с седла, он спросил:

— Милостивый государь! Какая самая краткая дорога к пристаням?

— О, mon lieutenant! Ви видит эта улиц? Ездиль до перви поворот эта рука... à droite! Там будет крутому спуску вниз, и ви найдет пристань!

Офицерик отсалютовал шашкой и спросил еще:

— Вы иностранец?

— Oui, monsieur! Я француз!

— А, союзник!.. Да здравствует Франция. Напишите в Париж, мсье, что сегодня мы вдребезги раскатали краснопузую сволочь. Скоро Москва наша!

Леон Кутюрье восхищенно прижал руку к сердцу:

— О, mon lieutenant! Русску офисье... это... это... le plus brave! Маршаль Фош сказал: русску арме один голи куляк разбиваль бошски пушка,— закончил он с еле уловимой иронией.

Офицерик засмеялся.

— Merci, monsieur! — Обернулся к отряду: — За мной!.. Рысью... ма-арш! — И копытный треск пронесся по граниту к спуску.

Леон Кутюрье приветственно помахал вдогонку тростью и отправился дальше. На углу он остановился у разбитой витрины заколоченного магазина, оперся на ржавые перила и внимательно начал разглядывать валявшиеся на запыленных полках остатки товаров.

Поднял руку и с неудовольствием заметил, что манжета закраснела по краю пятном ржавчины.

— Sacrebleu! — сердито сказал француз и, вынув из кармана носовой платок, начал старательно стирать ржавчину.

До вечера лениво и бесцельно бродил он по улицам, встречая конные и пешие части входящих добровольцев, помахивая тросточкой и котелком, любезно улыбаясь, впутываясь в ряды пехоты, разговаривая с солдатами и офицерами; поздравляя с победой, кланялся, шаркал ножкой.

Лицо у него было милое, глуповато-восторженное лицо

фланера парижских бульваров; офицеры и солдаты катались со смеху от его невозможного выговора, но француз не обижался, смеялся сам, суетился, и только по временам его, видимо, беспокоило пятно на манжете, потому что он часто вынимал из кармана платок и с французскими ругательствами яростно стирал злополучную ржавчину.

День уплывал за заречные леса. Вместе с влажной свежестью обыватели попрятались привычно по домам — из боязни налететь на пулю нервного часового или нож бандита.

Крепкие каблуки Леона Кутюрье застучали по пустынному переулку.

Издали француз увидел отяжелевшие светом, как соты медом, окна особняка, принадлежавшего богачу помещику, лошаднику, и занятого при красных под райком партии.

У подъезда угрюмо стыл громадный «Бенц», и на подушках автомобиля спал усталый шофер.

На ступеньках крыльца, вытянувшись и застыв воплощением безграничного нерассуждающего долга, стоял часовой — юнкер. На рукаве шинели в сумерках чуть виднелась, сломанная углом, красно-черная ленточка.

Леон Кутюрье поравнялся с окнами и увидел, как по комнате прошли, оживленно жестикулируя, два офицера.

Он остановился, чтобы рассмотреть лучше, но услыхал хлюпающий звук вскинутой на руку винтовки и жесткий крик:

— Нельзя!.. Проходи!..

— Нишево, господин сольдат!.. Я мирна гражданин, иностранец, если позволит!.. Леон Кутюрье! Мне иметь удовольствие поздравить православни армия с побед.

В голосе француза было такое обезоруживающее простодушие, глуповатое и ласковое, что юнкер опустил винтовку.

Француз стоял в полосе света, бившего густой сметанной белизной из окна, сдвинув котелок на затылок, расставив ноги, приятно улыбаясь, и показался юнкеру похожим на веселого героя экранных проказ Макса Линдера, над лицами которого юнкер беззаботно смеялся в те дни, когда его рука предпочитала сжимать не тяжелый приклад, а нежную руку девушки в тишине темного кино.

Но все же он строго сказал:

— Хорошо, мсье! Но проходите! С часовым говорить нельзя!

— Mille pardons! Я не знал! Я не военна!.. Ви, наверно, сторожит большая пушка?

Юнкер хохотнул:

— Нет!.. Здесь штаб командующего!.. Но проходите, мсье!

Леон Кутюрье отошел. Пройдя особняк, оглянулся. Неподвижная фигура юнкера высилась бронзовой статуэткой на ступенях. На тонкой полоске штыка играл серебряный холодноватый блеск.

Француз снял котелок и крикнул:

— Au revoir, господин сольдат!.. Я очень люблю храбру русску jeune homme!

Манжета

Васильевская улица была тихой и сонной, утонувшей в старых садах, из которых выглядывали низкие особнячки.

За две недели до вступления белых в квартиру доктора Соковнина въехала по ордеру жилотдела, заняв две комнаты, артистка Маргарита-Анна Кутюрье.

Докторша Соковнина вначале вскипела:

— Поселят такую дрянь, а потом разворует все вещи и уедет. И жаловаться некому!

И, злясь на жилицу, избегала встречаться с ней и не кланялась.

Но артистка не только ничего не вывезла, но еще привезла рояль и несколько кожаных чемоданов, набитых платьями, бельем и нотами.

У нее оказалось прекрасного тембра драматическое сопрано, сухой библейский профиль, холеные руки и великолепный французский выговор.

А когда однажды вечером она спела несколько оперных арий, спела, мощно бросая звуки, свободно и верно,— лопнула пленка человеческой вражды.

Докторша вошла в комнату жилицы, восхитилась ее голосом, разговорилась, предложила столоваться у них, а не портить себе здоровье в советских обжорках, и Маргарита Кутюрье стала своим человеком в семье Соковниных.

Мадам Марго пленила хозяев тактом, прекрасными манерами и восторженной и нежной любовью к мужу, застрявшему с весны в Одессе, которого Марго ждала с приходом белых.

В этот тревожный день, после стрельбы, конского топа

и людской молвы по всполошенным улицам, мадам Марго вернулась к чаю возбужденная и веселая.

— О Анна Андреевна! Я встретила на улице знакомого офицера!.. Он сказал... Леон в поезде командующего и будет сегодня к восьми часам, как только исправят взорванные рельсы за слободкой.

— Ну, поздравляю, дорогая! — ответила докторша.

Поэтому, когда за ужином все сидели в сборе: доктор, Анна Андреевна, Марго, дочь Леля — и из передней яростно задребезжал звонок, за Маргаритой, выбежавшей с криком: «Ah, c'est mon mari!» — последовали все.

В дверях стоял Леон Кутюрье. Жена с радостным смехом целовала его в щеки, он гладил ее по плечу и улыбался смущенно хозяевам.

— O, mon Léon! O, mon petit, je vous attendais depuis longtemps.

Француз что-то тихо сказал жене. Она схватила его руку и повернулась.

— О, я так счастлива, что даже забыла... Разрешите представить моего мужа!

Леон Кутюрье, низко склонясь, поцеловал руку хозяйки и крепко сдавил ладонь доктора.

— Что же мы стоим в передней? Прошу в столовую! Впрочем, вы, наверное, хотите помыться с дороги?

Француз поклонился.

— Блягодару... Parlez vous français, madame?

— Un peu... trop peu! — смущенно ответила Соковнина.

— Шаль!.. Я говору русску очень плок. Я не кочу ванн! Я имею обичка с дорога брать бань. С вокзаль я даваль везти себя в бань... le bain. Козяин пугальсь, кавариль: «Какой бань... стреляйт». Но я даваль ему два ста рубль. Она меня купаль, а на улиц «бум-бумм!..»

Он так жизнерадостно-весело рассказывал о бане, что хохотали все — и Соковнины и Маргарита, изредка бросавшая на мужа мимолетные настороженные взгляды.

За чаем ел гость с аппетитом, сверкал зубами и с улыбкой, ломаным языком рассказывал о событиях в Одессе, о высадке цветного корпуса и бегстве большевиков...

— Скоро будет польн порадок... Я занималь опять le commerce, фабрика консерв... Маргарит будет петь на опера.

Он улыбнулся и вопросительно посмотрел на жену. Она поняла.

— Tu es fatiguê Lèon N'est ce pas?

— Oui, ma petite! Je veux dormir!

— Да... да! Конечно, вам нужно отдохнуть после такой дороги. А где же ваши вещи, Леон Францевич?

— О, у меня одна маленьки сак! Я оставляль его козяин бань до завтра!

— Тогда возьмите пока белье Петра Николаевича.

— Не беспокойтесь, Анна Андреевна! Белье Леона у меня,— сказала француженка и покраснела мило и нежно.

— Merci, madame!

Леон Кутюрье еще раз поцеловал руку хозяйки и вышел за женой.

Войдя в комнату, наполовину загороженную роялем, француз быстро подошел к окну и посмотрел вниз, где смутно чернели плиты двора.

Круто обернулся и спросил вполголоса:

— Товарищ Бэла!.. Вы хорошо знаете всю квартиру? Куда выходит черный ход?

— Во двор у дровяного сарая. Налево ворота. На ночь запираются. Стена в соседний двор — полторы сажени, но у сарая лежит легкая лестница!

— Вы молодец, Бэла!

Она тихо и певуче засмеялась.

— Знаете... это черт знает что! Если бы я не знала, что вы придете в половине девятого, я ни за что не узнала бы вас. Феерическое преображение!

— Тсс!.. Тише. У стен могут быть уши! Не будем говорить по-русски. Такой разговор между супругами-французами может показаться странным.

Бэлла открыла крышку рояля и взяла густой аккорд. Спросила по-французски:

— Откуда, у вас, товарищ Орлов, такой комический талант?.. Ни за что бы не поверила!..

— Недаром я шесть лет промотался в эмиграции в Париже...

— Да я не об языке!.. А вот об этой имитации акцента! Это же очень трудно!

— Пустяки, Бэла!.. Немножко силы воли, выдержки и уменья держать себя в руках.

Он сел за стол и отстегнул манжету.

— Вы можете дать мне бумагу и ручку?

Взял бумагу, разогнул манжету, положил перед собой и старательно, вглядываясь в чуть заметные карандашные

пометки, зачертил пером, и первая же строчка легла ясная и четкая:

«Корпус Май-Маевского. Александрийский гусарский полк. Приблизительно 600 сабель».

Кончив писать, тщательно вытер манжету резинкой и протянул листки женщине.

— Бэла!.. Завтра же отнесите Семенухину. Он перешлет в военный отдел пятерки. Ну, довольно! Где я буду спать?

Бэла показала на открытую дверь спальни, где белела свежими простынями двуспальная старинная кровать карельской березы.

— Хорошая кровать!.. И комната... А вы где спите?

— Здесь же!

Орлов сдвинул брови.

— Что за чепуха?.. Неужели вы не могли подумать об этом раньше? Попросите у хозяев какую-нибудь кушетку для меня.

Бэла вспыхнула и посмотрела ему в глаза.

— Орлов! Я не считала вас способным на мещанство. Если вы считаете опасным говорить по-русски, то уж совсем не по-французски, чтобы приехавший после разлуки муж требовал отдельную кровать. Нелепо и подозрительно! У нас два одеяла, и будет очень удобно. Надеюсь, вы достаточно владеете собой?

Он резко махнул рукой:

— Я не потому!.. Просто боюсь стеснить вас! Я сплю очень беспокойно!

— Вздор!.. Выйдите, пока я лягу!

Выйдя, Орлов со злобой перелистал фотографии семейного альбома. Легкомысленное и глуповатое выражение давно сошло с напряженного, железно очертившегося и побледневшего лица. Углы рта опустились злой и старящей складкой.

В спальне щелкнул выключатель, хлынула мгла, и певучий голос Бэлы сказал:

— Léon! Je vous attends! Venez dormir!

Орлов вошел в темную спальню, ощупью нашел край кровати, сел на него и быстро разделся.

Скользнул под шуршащее шелком одеяло, сладко вытянулся и усмехнулся.

— Веселенькая история!.. Спокойной ночи, Марго!

— Спокойной ночи, Леон!

Повернулся к стене, перед глазами покатились, как

всегда в полудремоте, красные, зеленые и лиловые спирали, и, глубоко вздохнув несколько раз, Орлов уснул.

Пустой случай

Супруги Кутюрье жили мирно и счастливо. На третье утро после приезда мужа, в воскресенье, Бэла сидела на краю кровати в утреннем халатике, пила ячменный кофе из большой детской чашки и по-ребячьи, захватывая сразу губами и зубами, грызла желтые пышные бублики.

Орлов медленно открыл глаза и повернулся.

— Доброго утра, Леон! Как спали?

— О, чудесно! — ответил Орлов, облокотившись на подушку.

Бэла отставила чашку на туалетный столик и повернулась к нему. Глаза потемнели и вспыхнули сердитыми блестками.

— А я эту ночь не спала... И, знаете, нашла, что все это очень глупо, нерасчетливо и гадко!

— Что такое?

— Ну, вся эта история! Нельзя оставлять людей в подполье на месте легальной работы. Мы не так богаты крупными партийцами, чтобы терять их, как пуговицы от штанов. И я считаю, что Ревком в отношении вас поступил идиотски глупо...

— Бэла! Я попрошу вас находить более подходящие выражения для оценки действий Ревкома.

— Я не привыкла к дипломатическим вежливостям!

— Привыкайте! Ревком не глупее вас!

— Благодарю!

— Не за что... Что вы понимаете в партийной работе? — сказал Орлов, внезапно раздражаясь.— Вы, маленькая девочка, удравшая из архибуржуазной семьи в романтический поток!.. Ведь вас потянула именно романтика... приключения. Очень хорошо, что вы работаете беззаветно, но судить вам рано.

— Каждый имеет право судить!..

— Не спорю... Судите потихоньку. Хотите знать, зачем оставили именно меня? А потому, что я знаю здесь и в окружности на пятьдесят верст каждый камень, знаю, за кем и как мне следить, когда распылаются белые страсти. А когда наши вернутся, у меня в минуту весь город будет в руке. Вот!

Ои разжал кисть и с силой сжал ее:

— Р-раз, и готово! И иикаких заговоров, шпионажа, контрреволюции!

— А если вы попадетесь?

— Риск!.. Это война!.. А потом, если вы меня не узнали,— это достаточная гарантия, что не узнает иикто. «Рыжебородый палач», «Нерои», «истязатель»... чекист Орлов и Леои Кутюрье.

— А все же!..

— Хватит, Бэла!.. Идите — я буду одеваться!

За завтраком Леон Кутюрье потешал хозяев французскими аиекдотами и даже доставил огромное удовольствие тринадцатилетией Леле, показав ей, как глотают ножи ярмарочные фокусиики.

Но у себя в комиате, взяв шляпу, Орлов сказал Бэле сухо и повелительно:

— Бэла! Я ухожу. Вериусь к шести. Вы сейчас же отправитесь к СемеиухиIу и передадите ему записи!

Ночью над городом проиеслась короткая гроза, и здания и деревья, вымытые и свежие, сверкали в стеклянном воздухе еще ие просохшими каплями.

Улицы заполнились обывателем, трехцветиыми флагами, ленточками, букетами роз, модными шляпками и теплой малиной подкрашенных губ.

Все спешили на собориую площадь, на парад с молебствием по случаю счастливого избавления города от большевиков.

Леон Кутюрье протискался в первые ряды, благоговейно снял шляпу, с достойиым смирением прослушал молебеи и короткую устрашающую речь длинноногого, похожего иа сужеиый киизу клин, гeиерала.

Геиерал в сильных местах речи подпрыгивал, и жилистое тело его, казалось, хотело выпрыгнуть из мешковатого френча, дергаясь картоиным паяцем.

Серебряные трубы бодрым ревом грохнули «Марсельезу». Француз Леои Кутюрье геройски выпрямил грудь и пропустил мимо себя войска, прошедшие церемониальным маршем в сверкаиии штыков, пуговиц, погон и ордеиов.

Публика бросилась за войсками.

Леои Кутюрье иадел шляпу и, ие торопясь, пошел в обратиую сторону, иа главиую улицу. С трудом протискиваясь по заполиениому тротуару, он увидал иесущегося вихрем босоногого мальчишку-газетчика.

Мальчишка расталкивал всех, прыгал и визжал пронзительно:

— Дневной выпуск газеты «Наша Родина»! Поимка главного большевика!.. Оч-чень интересная!..

Леон Кутюрье остановил газетчика. Тот молниеносно сунул ему в руки свернутый номер, бросил за пазуху деньги и помчался дальше.

Леон Кутюрье развернул лист чуть дрогнувшими пальцами. Глаза бежали по неряшливым, пахнущим керосином строчкам, расширились, остановились, застыли на жирном заголовке:

«Поимка палача чекиста Орлова.

Вчера ночью на вокзальных путях офицерским патрулем задержан неизвестный, пытавшийся забраться в теплушку уходившего эшелона. Присутствующие на вокзале опознали в задержанном председателя губчека, известного садиста, истязателя и палача Орлова. Несмотря на опознание его многими лицами, Орлов отпирается и уверяет, что он крестьянин, приехал из Юзовки и собирался вернуться домой. Документов при нем не найдено, но в свитке оказалась зашитой крупная сумма денег. Орлов уверяет, что деньги получены им для юзовского кооператива. Наглая ложь трусливого палача так возмутила публику, что его хотели здесь же растерзать. Патрулю с трудом удалось доставить Орлова в контрразведку, где этот негодяй и получит заслуженное возмездие».

Пальцы в кулак... Газета комком... Ноги влипли в асфальт.

Сбоку какая-то женщина.

— Что с вами... Вы нездоровы?

Одна секунда...

Леон Кутюрье приподнял котелок:

— Блягодару!.. Ньет!.. Ничево!.. У меня очень больна сердце... le coeur... Одна маленька припадка... Пуста случай. Спасиб! Извозчик! Николяевска улис!

Вскочил в пролетку и сунул в карман скомканную газету.

Диалог

— Орлов?.. С-сам! А у меня тт-только что была Б-бэла... Зна... Да что с тобой такое? На тт-тебе лица нет!

Орлов вытащил из кармана пальто газету:
— На, читай!
Семенухин взглянул на лист. Коротко стриженная голова, с торчащими красными ушами, быстро нагнулась, и он стал похож на гончую, на последнем прыжке хватающую зайца.
Зрачки поскакали по строчкам.
Потом голова поднялась, губастый рот растянулся в довольный смех, и он выдавил заикаясь:
— Вв-вот зд-д-доррово!.. Этт-то же за-мм-мечательно!
— Что ты находишь тут замечательного? — спросил Орлов, прищурясь и присев на край стола.
— Д-да ведь этт-то ж исключительный случай. Тт-теперь ты можешь быть совершенно спокоен. Они п-пприкончат этого кулачка, и т-тты умм-мер. Н-ннкк-кому не п-придет в гол-лову т-тебя искать. Эт-тто такк-кая счастливая непп-предвиденность!
Орлов подпер ладонью подбородок и внимательно смотрел на Семенухина.
— Тебе никогда не приходили в голову никакие сомнения, Семенухин? Ты всегда делал, не раздумывая, свое дело?
— А п-почему т-тты спрашиваешь?
— Что ты сказал бы, если бы я сообщил тебе, что вот сейчас, после прочтения этой заметки, я пойду сдаваться в белую контрразведку.
Семенухин быстро захлопнул улыбавшийся рот, откинулся на треснувшую от напора коренастого тела спинку стула... и расхохотался.
— Ну-ну тебя к чч-чертовой мат-тери! Я чуть не п-пpинял всерьез! С-слушай, об этом тотчас же нужно известить всех... П-пусть по районам подымают вопли сожаления о т-ттоварище Орлове. Эт-то б-будет замм-мечательно!
Орлов нагнулся к нему через стол.
— Погоди ты. Я тебе говорю совершенно серьезно. Что ты скажешь, если я пойду и сдамся?
В голосе Орлова были жесткие удары, улыбка сбежала с лица Семенухина, он внимательно вглядывался в левую щеку Орлова, на которой нервно дрожал под глазом треугольный мускул.
— Ч-то бы я ск-кказал?..— начал он медленно и глухо, замолчал, отодвинул стул и, встав во весь рост, неторопливо и спокойно вынул из бокового кармана револьвер.—

Ск-казал б-бы один из д-двух. Или т-ты с ума с-сошел, или т-ты п-подлец и п-предатель! В т-том или д-другом случае я об-бязан не допустить т-такого исхода.

— Спрячь свою погремушку. Меня не испугаешь револьвером.

— Я п-пугать не собираюсь. А убить уб-ббью!

— Послушай, Семенухин! Откинь все привходящие обстоятельства. Дело обстоит для меня чрезвычайно остро. На мне лежит крайне тяжелая работа, требующая полного равновесия всех сил. Ваше дело простое! Вы сидите кротами по квартирам и лишь по ночам вылазите в районы для агитации. Я круглый день танцую на острие бритвы. Мельчайшая оплошность — и конец!

— Т-ттак что же тт-тебе нужно?

— Подожди!.. Случилось страшное! Вместо меня, дурацкой ошибкой, роковым сходством, приведен к смерти человек. Не враг — не офицер, поп, фабрикант, помещик, а мужичонка. Один из тех, для кого я же работаю. Может ли партия избавить меня от опасности ценой его смерти? Могу ли я спокойно перевесить чашку весов на свою сторону?

Семенухин иронически скривил рот.

— Интеллигент-ттская п-ппостановочка вопроса? Нравственное право и в-веления м-ммoff морали? Д-ддостоевщина! Д-для тебя есть т-только дело п-ппартии, и пп-проваливать его т-ты не им-меешь права!

По лицу Орлова, от лба к подбородку, протекла густая красная волна. Он вскочил со стула.

— Зачем ты говоришь о деле партии? Я его не провалю и не собираюсь проваливать. Если бы даже я сдался, из меня никакими пытками ничего не выжмешь.

Семенухин раздраженно передернул плечами.

— Так для чего же т-ты по соб-ббственной в-воле хочешь сунуть б-ббашку в п-петлю? Говоришь, а-арестован мужичонка. Од-дин из т-ттех, на кого мы раб-ботаем?.. Не знаю... Муж-жик муж-жику рознь. При нем найдены крупные деньги... От-ттуда? К-кооперативные?.. В-возможно... А скорей сп-пекульнул м-ммукой или салом... Кулак! Тогда если не яв-ный, то пот-тенциальный враг. И нечего слюнт-ттяйничать!

— Но ведь его замучат в контрразведке, принимая за меня. Значит, человек погибнет невинно!

— П-послушай! — сказал Семенухин.— Ступ-пай домой, вып-пей стакан самогонки и проспись!.. Философ!

— Пошел ты к черту! — озлился Орлов.— И оставь свои советы при себе. Я в них не нуждаюсь!

Семенухин раздумчиво покачал большой головой.

— Ты очень нервничаешь! Это нех-хорошо! Т-ттолько поэтому т-ты и наговорил таких глупп-постей, которые сами пп-по себе достт-таточны для исключ-чения любого т-ттоварища из партии. П-поступок, который т-ты хотел сделать,— пп-предательство. Я говорю эт-то именем Ревкома! Оп-помнись!

Орлов побледнел и нервно стянул лицо к скулам. Опустил глаза, и голос конвульсивно задохнулся в горле:

— Да, я нервничаю. Я не машина, наконец, черт возьми! В силу всех известных тебе обстоятельств я прошу Ревком освободить меня от работы и переправить за фронт. Я могу просто не выдержать бесконечного напряжения, сорваться и еще больше навредить делу. Примите это все во внимание. Камень тоже может расколоться!

— Г-лупп-пости! Отправляйся домой и отдохни!

Голос Семенухина стал нежным и ласковым. Было похоже, что отец говорит с маленьким и любимым сыном.

— Дмитрий! Я понимаю, что тебе очень тяжело и что вспышка твоя совершенно естественна. Ты наш лучший раб-ботник. Отдохни дня два. А п-после т-ты сам б-будешь смеяться!.. П-пойми, ккк-какая счастливая случайность! Орлов умер, и б-белые спокойны, а Орлов т-ттут, рядком, голубб-бчики!

— Хорошо! До свиданья! У меня действительно голова кругом идет!

— П-понимаю! Так не б-будешь глупить?

— Нет!

— Ч-честное слово?

— Да!

— Д-до свид-данья! Т-такая глуп-пость! За т-три дня ты соб-брал т-такие сведения и вдруг...

Он схватил обеими руками руку Орлова и яростно смял ее:

— Отдохни об-бязательно! — И нежно закончил: — Ч-чудесный т-ты п-парень!

Порция мороженого

Леон Кутюрье бросил продавщице деньги, воткнул в петличку две астры и, поигрывая тросточкой, побрел вниз

по Николаевской улице, по-кошачьи улыбаясь томным от осеннего воздуха женским глазам.

Было жарко, и ему захотелось чего-нибудь холодного, освежающего.

Он распахнул стеклянную дверь кондитерской, положил шляпу на столик, налил воды из графина и заказал кельнерше порцию мороженого.

Огляделся. За соседним столиком пили гренадин два офицера. У одного правая рука висела на черной повязке, и сквозь бинт на кисти просочилось рыжее пятнышко крови.

Кельнерша подала мороженое, и Леон Кутюрье с наслаждением заглотал ледяные комочки с острым привкусом земляники.

— ...Ну да... об Орлове и говорю.

Пальцы Леона Кутюрье медленно положили ложечку на стол, и все тело его незаметно подалось в сторону голоса.

— ...Здорово это вышло! Идем мы, понимаешь, обходом по путям. Тут эшелоны стоят, теплушки всякие. Должны были пехоту принимать на север. Глядим, прет какой-то леший из-под колес. Шмыг бочком — и лезет в теплушку. «Стой!» Остановился. Подходим. Здоровенный мужчина в свитке и бородища рыжая. А глаза как угли. «Ты кто?» — «Ваши благородия, явить божецку милость. Я ж з Юзовки. Домой треба, а тут усю неделю потяги стояли. Дозвольте доихать».— «Тебе в Юзовку? А зачем же ты в этот поезд лезешь, когда он на Круты идет?» — «Та я ж видкиля знаю, коли уси потяги сказились?» — «Сказились? Документы! — «Нема, ваше благородие, бо вкралы!» Щеглов и говорит: «Забрать!» Он в крик: «За що? Що я зробив?» Ведем на вокзал. Только ввели, вдруг сбоку кто-то кричит: «Орлов!» — «Какой Орлов?» — «Председатель губчека!» У нас рты раскрылись. Вот так птицу поймали. И еще тут три человека подбежали, узнали. Один в чеке сидел, так тот его сразу по морде. Конечно, кровь по бороде, а он на своем стоит. «Я, говорит, Емельчук, киперативный». Хотели его на вокзале прикончить, но комендант приказал в разведку.

— Зачем?

— Как зачем? Он же, ясно, на подполье остался. И у него вся ниточка организации.

— Ну, такой ни черта не скажет. Мы из одного чеки-

ста жилы на шомпола наворачивали, и то, сукин сын, молчал.

— Заговорит!.. Три дня поманежат — все выложит, а потом и налево! Ну, пойдешь, что ли, к Таньке?

— А что?

— Обещала она сегодня свести в одно место. Железка! Всякие субчики бывают — можно игрануть!

— Пожалуй! — лениво ответил офицер с подвязанной рукой и хотел встать.

Леон Кутюрье поднялся из-за своего столика и, подойдя к офицерам, с изысканной вежливостью склонил голову.

— Ви простит. Не имею честь, l'honneur, знать. Я есть коммерсант Леон Кутюрье. Я слышать — ви помощник чекист Орлов?

Офицер польщенно улыбнулся.

— Я желаль знать... Я много слыхаль на Орлов... Я приехал из Одесс и узнал: мой старая мать, ma pauvre mère, расстрелян чека. Я имель ненависть на чека и хотель випить la santé доблестни русску лейтенант. Ви рассказать мне, какой Орлов. Я его сам буду assassiner, как это по-русску... убивать!

В глазах Леона Кутюрье мелькали злобные вспышки. Офицера заинтересовал забавный иностранец. Он нагнулся к товарищу.

— Мишка!.. Этого французского дурня можно здорово подковать на выпивон. Я его обработаю.

Он повернулся к Леону.

— Мсье!.. Мы очень счастливы! Представитель прекрасной Франции! Мы проливаем кровь за общее дело. С чрезвычайным удовольствием позволим себе ответный тост за ваше здоровье!.. Разрешите представиться. Поручик граф Шувалов!.. Подпоручик светлейший князь Воронцов!

Второй офицер осторожно толкнул товарища сзади. Тот шикнул:

— Молчи, шляпа! У француза все знакомые в России графы!

Леон Кутюрье пожал руки офицерам.

— Ошень рад! Je suis enchanté, восторжен, иметь знакомство прекрасни русски фамиль.

— Но знаете, мсье! Нам нужно перекочевать, по нижегородскому обычаю, в другое место. В этой дыре, кроме гренадина, ничего нет. А в России не принято пить здоровье друзей фруктовой водой.

— Mais oui! Я знает русска обич. Мы будем пить водка.

— О, это здорово! Настоящая русская душа! — И «светлейший князь Воронцов» нежно хлопнул француза по плечу.

— Мы будем пить водка! Потом вы мне говорит об Орлов. Я хочу знать, где она сидит? Я ехаль к главному командир, предлагаль стрелять Орлов своя рука, мстить! La vengeance!

— Видите ли, мсье,— сказал небрежно «светлейший князь»,— я, к сожалению, не могу сказать вам, где сидит сейчас этот субчик. Это слишком мелкий вопрос для меня, русского аристократа, но, к счастью, я вижу в дверях человека, который вам поможет. Разрешите, я вас оставлю на минуту?

Он элегантно звякнул шпорами и пошел к двери, в пролете которой стоял, оглядывая кафе, высокий, тонкий в талии офицер.

— Слушай, Соболевский, будь другом! Мы с Мишкой подловили тут одного французского обормота. Он какой-то спекулянт из Одессы, приехал искать свою мамашу, а ее в чеке списали. Случайно слышал, как я вчера арестовал Орлова, и воспылал ко мне нежными чувствами. Хороший выпивон обеспечен. Идем с нами! Ты можешь порассказать о его симпатии, и он уйдет не раньше, как с пустым карманом. Только имей в виду, что я князь Воронцов, а Мишка граф Шувалов.

Офицер поморщился.

— Только и знаете дурака валять. У меня груда дела.

— Соболевский! Голубчик! Не подводи! Не будь свиньей! У тебя же самые свежие новости из вашей лавочки. А француз страшно интересуется Орловым. Даже предлагал, что сам его расстреляет за свою pauvre mère!

Соболевский со скучающим лицом вертел шнур аксельбанта.

— Ну что же?

— Ладно! Дьявол с вами! Согласен!

— Я знал, что ты настоящий друг. Идем!

Соболевского представили Леону Кутюрье.

— Куда же?

— В «Олимп». Пока единственный и открыт!

Подозвали извозчиков и расселись.

Мой друг

От смятых бархатных портьер, обвисших пыльными складками на окне, было полутемно в прохладном кабинете.

Сумеречные светы сквозь волну табачного дыма холодно стыли на батарее пустых бутылок у края стола.

В глубине кабинета на тахте, уже мертвецки пьяные, возились и щипали девчонок-хористок «граф Шувалов» и «князь Воронцов».

Хористки визгливо пищали, хохотали и откалывали солдатские непристойности.

У одной шелковая блузка разорвалась, рубашка слезла с плеча, и в прореху выпячивалась острая грудь с твердым соском.

«Граф Шувалов» верещал, изображая грудного младенца:

— Уа, уа-ааааа!

Дрыгал ногами и тянулся сосать грудь. Девчонка отбивалась и шлепала его по губам.

За столом остались Соболевский и Леон Кутюрье.

Француз, откинувшись на спинку стула, обнимал за талию примостившуюся у него на коленях тихонькую женщину, похожую на белую гладкую кошку.

Она мечтательно смотрела в окно.

Поручик Соболевский сидел совершенно прямо на стуле, как будто на лошади во время церемониального марша, и курил.

Лица его против света не было видно, и только изредка поблескивали глаза.

Глаза у поручика были странные. Большие, глубоко посаженные, томные и в то же время зверьи. По ночам, во время метели, в степи, сквозь вихрь снега, зелеными огоньками горят волчьи глаза.

И так же, по временам, зеленым огнем горели глаза Соболевского.

Разговаривали они все время по-французски.

В начале обеда Кутюрье обращался к поручику на своем ломаном волапюке, от которого дергались в восторге оба офицера, пока Соболевский не сказал нахмурясь:

— Monsieur, laissez votre ésperanto! Je parle français tout couramment!

Француз обрадовался. Оказалось, что поручик Соболевский жил и учился в Париже, в Сорбонне.

Он сидел против Леоиа, прямой, поблескивающий глазамн, и тихо говорил о Парнже, вспомииал дымные сады Буживаля, в которых умер Тургенев, шумиые корндоры факультета belles-lettres, где провел три чудесных года.

Леои Кутюрье кнвал головой, со своей стороиы поминал парижские веселые уголки и упорио подливал поручику вино. Но поручик пьянел медленио. Ои только еще больше выпрямлялся с каждой рюмкой и бледиел.

— Да, это было прекрасное время нашей Франции,— со вздохом сказал Леон,— а теперь огонь Парнжа померк. Проклятые бошн достаточно разреднлн парижаи, и сейчас Париж — город тоскующих женщнн.

— Вы давно из Парижа? — спросил поручик.

— Не очень! В прошлом году, как раз в бошскую революцию. И мне стало очень грустно. Веселье Парижа — траур, н сердце Франции под крепом.

— Да, грустно,— процедил задумчиво поручнк и внезапно спросил: — Мон беспутные приятели сказали, что вы приехали за вашей матушкой?

Леон Кутюрье вздохиул.

— О да! Как ужасно, господии лейтенант, и я даже не зиаю, где ее могила! Какие зверн! Чего хотят эти люди? В варварской азнатской стране водворнть социалнзм? Безумне, безумие! Мы нмеем пример нашей великой революцин. Ее делалн велнчайшие умы в стране, которая всегда была светочем для человечества. И что же? Они отказалнсь от соцнализма, как от бессмысленной утопин. А у вас?.. О мой бог! Соцналнзм у калмыцкнх орд? И этн звери не щадят жеищин! О моя мать! Я слышу, она зовет меня к мщению!

— Да, да. Ее расстреляли в чека?

Кутюрье кивиул головой.

— Вы теперь понимаете, какая отрада для меня, что этот негодяй арестоваи!

— Дай папиросу, фраицузик,— мяукнула иеожиданио кошечка, свернувшаяся иа коленях Леона. Ей было скучио слушать иезиакомые слова.

— Я с большой иежностью вспоминаю Париж,— сквозь зубы выговорил Соболевский,— это было лучшее мое время. Молодость, энтузиазм и чистота! Я любил литературу, эти сумасшедшие ночные споры в кабачках, где решались мировые проблемы, слова в дыму папнрос, в тумане абсеита, под визг скрипок. И эти стихи, читаемые

неизвестными юношами, которые назавтра гремели своими именами по всему миру...

Поручик зажмурился.

— Вы помните это:

Hier encore l'assaut des titans
Ruait les colonnes guerrières,
Dont les larges flancs palpitants
Craquaient sous l'essieu des tonnerres...

— О, я этого не понимаю... Я слаб в литературе. Моя область коммерция!

Совсем стемнело. С дивана, из темноты доносились заглушенные поцелуи и взвизгивания. Поручик допил вино, еще побледнел.

— Пора, пожалуй, отправляться. Много работы.

— Вы, верно, очень устали?.. Вся ваша армия. Но это последняя усталость героев. За вашими подвигами следит весь цивилизованный мир. Теперь ваша победа обеспечена!

Поручик облокотился на стол и посмотрел в лицо собеседнику пьяно и грозно.

— Да, скоро кончим! Надоела мелкая возня! После победы мы займемся перестройкой России в широком масштабе!

— Как вы мыслите себе ваше будущее государство?

— Как?..— поручик еще тверже оперся на стол. Леон Кутюрье увидел, как странные глаза Соболевского расширились бешенством, яростью, заполыхали, заметались волчьими огнями.

— О, мсье! У меня своя теория! Все дотла! Вы понимаете! Превратить эту сволочную страну в пустыню. У нас сто сорок миллионов населения. Право на жизнь имеют только два, три! Цвет расы: литература, искусство, наука! Я материалист! Сто тридцать семь миллионов на удобрение! Понимаете! Никаких суперфосфатов, азотистых солей, селитры! Удобрить поля миллионами! Мужичье, хамы, взбунтовавшаяся сволочь. Все в машину! Большую кофейную мельницу. В кашу! Кашу собирать, прессовать, сушить — и на поля! Всюду, где земля плоха! На этом навозе создать новую культуру избранных.

— Но... кто же будет работать для оставшихся?

— Ерунда! Машины! Машины! Невероятный расцвет машиностроения. Машина делает все. Скажете, машины нужно обслуживать! О, здесь поможете вы. Вы получили после войны огромные территории в Африке, в Австралии. Вы все равно не можете прокормить всех своих дикарей,

не можете всем дать работу. Мы купим их у вас. Мы создадим из них кадры надсмотрщиков за машинами. Немного! Тысяч триста! Хватит! Мы дадим им роскошную жизнь, вино, лупанарии со всеми видами разврата. Они будут купаться в золоте и никогда не захотят бунтовать. Кроме того, медицина! Гигантские успехи физиологии! Ученые найдут место в мозгу, где гнездится протест. Это место удалят оперативным путем, как мозжечок у кроликов. И больше никаких революций! Баста! К черту! Что вы на это скажете?

Леон Кутюрье поспешно ответил:

— Это крайность, господин лейтенант! Излишняя жестокость! Мир, Западная Европа не простят вам уничтожения такого количества жизней.

Поручик перегнулся к французу. В глазах его уже было голое безумие. Голос стал острым и ощущался, как вбиваемый гвоздь.

— Струсил? Бульварная душа, соломенные твои ноги! Все вы сопляки! Ублюдочная нация, паровые цыплята! На фонарь вас, к чертовой матери!..— Он вытер рукой запенившиеся губы.— Черт с тобой! Пойду! Выспаться надо! Завтра еще товарищей в работу брать!..

— Каких товарищей? — спросил Кутюрье.

— Краснопузых... хамов! Легкий разговорчик... Иголки под ноготки, оловца в ноздри... Я — комендант контрразведки! Понимаешь ты, французская блоха!

Поручик горячо дышал перегаром в лицо Леону Кутюрье. Женщина на коленях у француза встрепенулась.

— Ты что так ногой дрожишь, миленький!.. Холодно, что ли!

— Ньет!.. Ти мне томляль нога... Сходит, пожалуст! — ответил сердито француз.

Соболевский посмотрел на женщину, дернулся всем телом и, размахнувшись, сбил со стола бутылки. Пол зазвенел осколками.

— Напился, сукин сын!..— сказала женщина.

Поручик смотрел на осколки, соображая. И снова нагнулся к французу.

— Ты меня прости, Леончик... Леошка! Ты хороший малый, а я сволочь, палач! Поедем, брат, ко мне на полчасика. Я тебе покажу последнее падение... бездну... Ты Достоевского не знаешь?.. Нет? Ну и не надо!.. А вот посмотришь и расскажешь во Франции... Скажи им, суки-

ным детям, что выносят русские офицеры, верные долгу чести и братскому союзу...

— Хорошо... господин лейтенант! Но успокойтесь!.. У вас нервы не в порядке... Я все расскажу... У нас, во Франции, ценят ваше геройство...

— Да... ценят?.. Гнилой шоколад посылают, старые мундиры, снятые с мертвецов? Подлецы они все! Один ты хороший парень, Леоша! Едем!

— Может быть, не стоит, господин лейтенант? Вы устали, нездоровы. Вам нужно серьезно отдохнуть.

— Ну что же, опять струсил?.. Не бойся! Пытать не буду! Я пошутил. Идем. Леончик!.. Тяжело мне!.. Русский офицер, стихи писал, а теперь в палачи записался. Я тебя ликером напою. Зам-мечательный бенедиктин!

— Хорошо!.. Только нужно расплатиться.

— Не беспокойся!

Соболевский позвонил. В двери появился официант.

— Счет завтра в контрразведку! Скобелевская, семнадцать. И катись к матери!

Соболевский подошел к дивану.

— Ну... сиятельные! Довольно вам тут блудить. Марш!

— Ты уезжай, а мы останемся.

— А платить кто будет?

— Деньги есть!

Леон Кутюрье простился с офицерами. В вестибюле Соболевский подошел к телефону.

— В момент машину!.. К «Олимпу»!.. Я жду!

Они вышли на подъезд. Поручик сел на ступеньку, Леон Кутюрье облокотился на перила.

Соболевский долго смотрел на уличные огни. Повернул голову и сказал глухо:

— Леон! Когда-то я был маленьким мальчиком и ходил с мамой в церковь...

Леон Кутюрье не ответил. Из-за угла пугающе-черный и длинный выбросился к подъезду автомобиль. Поручик встал и подсадил француза.

Машина взвыла и бесшумно поплыла по пустым улицам. Резко стала у двухэтажного дома в переулке. С крыльца окрикнул часовой.

— Стой!.. Глаза вылезли, черт!..— крикнул Соболевский и жестом пригласил Леона. Они прошли прихожую и поднялись во второй этаж. Налево по коридору Соболевский постучался. На оклик распахнул дверь.

Из-за стола в глубине слабо освещенной комнаты встал квадратный, широкоплечий, в полковничьих погонах.

— Соболевский... вы? Что за ерунда? — и оборвал, увидев чужого.

Соболевский отступил на шаг и бросил:

— Господин полковник! Позвольте представить вам моего друга... Товарищ Орлов!

«Жаль, очень жаль»

— Всегда вы с вашими дурацкими приемами... Тоже японец!.. Джиу-джитсу! Вы его наповал уложили.

— Разве я предполагал, что он, как кенгуру, прыгнет? Сам налетел на кулак. А это уж такой собачий удар под ложечку!

— Лейте воду! Кажется, зашевелился.

Орлов медленно и трудно раскрыл глаза. Под ложечкой, при каждом вздохе, жгла и пронизывала вязальными спицами боль. Он застонал.

— Очнулся! Ничего, оживет!

— Положим на диван! А вы вызовите усиленный конвой.

Орлова подняли. От боли он опять потерял сознание и пришел в себя уже на диване. Над головой, в стеклянном колпачке, горела лампочка и резала глаза.

Отвернулся, увидел комнату, стол. Попытался вспомнить.

Открылась дверь. Весело вошел Соболевский.

— Господин полковник! Позвольте получить с вас десять тысяч. Пари вы проиграли: первого крупного зайца я заполевал.

— Подите к дьяволу!

— Согласитесь, что проиграли.

— Ну и проиграл! Дуракам везет!

— Это устарелая поговорка, господин полковник! Вообще вы для контрразведки не годитесь. Я бы вас держать не стал. У вас устарелые приемы! Ложный классицизм! Вы совершенно не знаете психологии!

— Отстаньте!

— Нет, извините! Мне досадно. Сижу я, талантливый человек, на захудалой должности, а вы — бездарность и вылезли в начальство.

— Поручик!

— Знаю, что не штабс-капитан. А вас бы в прапорщики надо. Тоже хвастал. Приволок смердюка бесштанного... «Орлова арестовал». Ворона безглазая.

— Вы с ума сошли... Сами же радовались...

— Радовался вашей глупости... Ну, думаю, теперь старого Розенбаха в потылицу, а мне повышеньице.

Голос Соболевского стучал нахальством. Полковник промолчал.

— Ну, не будем ссориться,— сказал он заискивающе.— Расскажите толком, как вы умудрились...

— Поймать?.. Поучиться хотите?.. По чести скажу — случайно. Никаких подозрений сперва... Французик и французик. Играл он здорово! И я с ним запанибрата, даже теорию свою о неграх ему разболтал. Но тут налетел моментик! Женщина выдала, как он секундочку с собой не справился. И меня как осенило. А что, если?.. Вдруг мы прошиблись и действительно не того сцарапали? До того взволновался, что пришлось бутылки бить, чтобы отвлечь внимание. И то поверить не мог. Решил затащить его сюда по-приятельски, а здесь проверочку сделать... А он во второй раз не выдержал. Не дерни его нелегкая в бега броситься, так бы шуткой и кончилось!

Орлов скрипнул зубами:

— Сволочь!

— А, мсье Леон! Изволили проснуться? Как почивали?

Орлов не ответил.

— Понимаю! Вы ведь больше по-французски! Чистокровный парижанин? И мамаша ваша тоже ведь парижанка? А Верлэна помните? Хороший поэт? Я ему подражал, когда начал стихи писать. Стихи обязательно прочту... Оценишь... сукин сын!

Орлов закрыл глаза. Какая-то оранжевая, в зеленых крапинках, лента упорно сматывалась с огромной быстротой в голове с валика на валик. Вздрогнул и привскочил на диване.

— Благоволите сидеть спокойно, мусью Орлов,— крикнул полковник, подымая парабелум,— мы вынуждены стеснить свободу ваших движений.

Орлов не слышал. Тупо, без мысли смотрел перед собой. Вспомнилось: Семенухин!.. Разговор! «Я же дал честное слово! Он может подумать, что я!..» Стиснул косточками пальцев виски и закачал головой.

— Что, господин Орлов? Неужели вам не нравится у нас? Не понимаю! Тепло, чисто, уютно, обращение почти

вежливое, хотя я должен принести вам извинение за нетактичность поручика, но вы проявили такую способность к головокружительным пируэтам, что пришлось вас удержать первым пришедшим в голову способом.

Орлов отвел руки от лица.

— Вы мразь!.. Я с вами разговаривать не намерен,— крикнул он полковнику.

Полковник пожал плечами.

— За комплимент благодарю. Но разговаривать вам все же придется. Даже против желания. В нашем монастыре свои обычаи!

— Иголки под ногти будешь загонять, гадина?

— Не я, не я! Я совсем не умею. У меня руки дрожат. Зато поручик по этой части виртуоз. Всю иголку сразу и даже не сломает! Сами товарищи удивляются! Вы как предпочитаете, господин Орлов? Холодную иглу или раскаленную? Многие любят раскаленную. Сначала, говорят, больно, зато быстрее немеет.

Орлов молчал. Поручик Соболевский прошелся по комнате.

— Так, мсье Леон? В машину? Да-с, в машину! — Он быстро подошел к Орлову и всадил в его зрачки горящие волчьи глаза.— Прокрутим в кашу, спрессуем — и на удобрение! И культурный Запад ничего не скажет. Вырастут колосья, и подадут мне на стол булочку. Булочка свеженькая, тепленькая, пушистая, вкусная! А почему? Потому что не на немецком каком-то суперфосфате выросла, а на живой кровушке!

Поручик вихлялся и шипел змеиным, рвущим уши шипом.

Орлов вытянулся и бешено плюнул.

Соболевский отскочил и, выругавшись, занес руку, но полковник перехватил удар.

— Ну вас! Оставьте! У вас, поручик, такой дробительный кулак, что вы господина Орлова можете убить, а это совсем не в наших интересах. Самое забавное впереди.

— Сука! — сказал поручик, вырвавшись. — Пойду умоюсь.

— Да, вот что! Распорядитесь освободить этого олуха Емельчука, киперативного. Напрасно помяли парня.

— О, у вас даже освобождают? Какой прогресс! — сказал Орлов.

— Не извольте беспокоиться. Вас не выпустим.

Орлов пошарил по карманам. Папирос не оказалось.

— Дайте папиросу!

— Милости прошу.

Полковник поднес портсигар. Орлов взял и вывернул все папиросы себе на ладонь.

— Ай, какой вы недобрый! Мне ничего не оставили?

— Наворуете еще! А мне курить надо!

— А вы мне, ей-ей, нравитесь! Люблю хладнокровных людей!

— Ну и заткнитесь! Нечего языком трепать!

— Ах, какая непарижская фраза! Вы себя компрометируете. А сознайтесь, что я свою разведочку поставил неплохо. Не хуже вашей чека.

Орлов взглянул в ласково прищуренные зрачки полковника.

Облокотился на спинку дивана и процедил сквозь зубы:

— К сожалению, должен согласиться с поручиком Соболевским, что вы старый идиот, которого держат, очевидно, из жалости.

Подполковник налился до кончика носа малиновым соком.

— Ты еще дерзости будешь говорить, мерзавец! Довольно! Я тебе покажу! Сейчас сообщу командующему — и в работу.

Он взял телефонную трубку. Вернулся в комнату Соболевский.

— Алло! Штаб командующего! Начразведки. Слушаю-с!

— Конвой готов? — бросил он Соболевскому в ожидании ответа.

— Готов, господин полковник!

— Да. Слушаю. Ваше превосходительство? Доношу, что Орлов арестован. Да. Сегодня. Нет... Действительно ошибка... Невероятное сходство... Так точно... Арестован поручиком Соболевским... Слушаю... Да... Да. Почему, ваше превосходительство... ведь мы?.. Слушаю, слушаю! Будет исполнено, ваше превосходительство! Счастливо оставаться, ваше превосходительство!

Он злобно швырнул трубку.

— У, черт!

— Что такое? — спросил Соболевский.

— У нас его отбирают.

— Куда?

— К капитану Тумановичу. В особую комиссию.

— Но почему? Ведь это же свинство!

— Известное дело! Туманович в великие люди лезет. Сволочь... налет.

Полковник высморкался длительно и громко.

— Жаль, жаль, господин Орлов! Вам очень везет. Придется вас отправить к капитану Тумановичу. Очень жаль! Капитан слишком европеец и слишком держится за всякие там процессуальные нормы. Ничего он с вами не сделает, так и отправит вас в расход, не узнав ни гугу. А мы бы из вас все вытянули — потихоньку, полегоньку, любовно. Все бы высосали — по капельке. Ничего не поделаешь. Скачи, враже, як пан каже. До утра вы все же погостите у нас, а то ночью отправлять вас опасно. Человек вы отчаянный. Досадно только, что не придется с вами за старого идиота посчитаться... Поручик, проведите господина Орлова.

Ария Лизы

Мадам Марго вышла к обеду немного взволнованная.

— Анна Андреевна, знаете, не могу понять, почему Леона до сих пор нет?

— Ничего, Марго! Не волнуйтесь! Задержался по делам или зашел к знакомым.

— Не думаю. И потом, он всегда предупреждает меня, если не рассчитывает скоро вернуться.

Доктор Соковнин разгладил бороду над тарелкой супа.

— Эх, голубушка! Куриный переполох начинаете! Вздор-с! Нервы-с! Леон ваш чересчур примерный муженек и избаловал вас. Нашему брату иногда немножко воли нужно давать. Вот когда женился я на Анне, от любви мне ходу никакого не было. На полчаса запоздаешь — дома слезы, горе. А в нашем докторском деле извольте аккуратность соблюсти! Ну-с, вот однажды я и удрал штуку. Ушел утром из дому. «Пойду, говорю, газету купить». Вышел и пропал. Через трое суток только и объявился. Тут истерика, дым коромыслом, полицию всю на ноги подняли, всю реку драгами прошли, все мертвецкие обегали. А я у приятеля-помещика в пятнадцати верстах рыбку ловлю. С той поры как рукой сняло. Больше суток могу пропадать без волнения. Так и вам надо.

Анна Андреевна засмеялась.

— Хорош был, когда вернулся! Нос красный, водкой

пахнет. Посмотрела я и подумала: «Это из-за такого сокровища я себе здоровье порчу? Да пропади хоть совсем, не пошевельнусь».

Но старания хозяев развеселить Марго не удавались. Артистка нервничала и томилась.

— Но уж если, голубушка, вы так беспокоитесь, я пройду в полицию. У меня там старый приятель есть. При всех режимах от меня спирт получает и за сие мелкие услуги оказывает.

Марго встрепенулась от оцепенения.

— Ах, нет, доктор. Только, пожалуйста, не полиция. Ненавижу русскую полицию. Вымогатели! Пойдут таскаться! Не нужно! Если утром не вернется, тогда примем меры. А сейчас нужно повеселиться. Хотите, спою?

— Обрадуйте, милушка! Люблю очень, когда вы соловушкой заливаетесь.

Маргарита села к роялю.

— Что же спеть? Приказывайте, доктор!

— Ну, уж если вы такая добренькая сегодня, спойте арию Лизы у Канавки. Ужасно люблю. Еще студентом ладошки себе отхлопывал на галерке.

Марго раскрыла ноты.

Рокоча полились стеклянные волны рояля.

Доктор уткнулся в кресло. Анна Андреевна тихонько мыла стаканы.

Ночью ли, днем
Только о нем
Думой себя истерзала я...

Прозрачный голос замутился, затрепетал:

Туча пришла,
Гром принесла,
Счастье, надежды разбила...

Внезапно перестали падать стеклянные волны.

Марго захлопнула крышку и хрустнула пальцами. Доктор вскочил.

— Марго, родненькая!.. Что с вами? Успокойтесь! Анна, неси валерьянку!

Но Марго оправилась. Поднялась бледная, сжав губы.

— Нет! Нет! Ничего не надо, спасибо! Мне очень тяжело. Такое ужасное время. Мне всякие ужасы чудятся. Извините, я пойду прилягу.

Доктор довел ее до комнаты. Вернулся в столовую.

— Молодо-зелено,— сказал он на вопросительный взгляд жены,— трогательно видеть такую любовь! Эх-хе-хе!

Он взял газету. Открыл любимый отдел — местная хроника и происшествия. Сощурился.

— Знаешь, Орлов арестован, Анна.

— Какой Орлов?

— Да наш чекист знаменитый!

— Что ты говоришь?

— Представь себе! Поймали вчера на вокзале. Понесу-ка газету Маргоше. Пусть отвлечется немножко.

Мягко ступая войлочными туфлями, доктор подошел к двери и постучал.

— Вот, голубка, возьмите газетку. Развлекитесь немножко злободневностью.

Высунувшаяся в дверь рука артистки взяла газету.

Доктор ушел. Бэла подошла к столику и небрежно бросила газету. Грязноватый лист перевернулся, и среди мелких строчек выросло:

«Арест Орлова».

Бэла не сделала ни одного движения. Только руки ухватились за столик. Буквы заползали червями. Она села, закрыв глаза.

Вдруг вскочила и схватила лист.

«Как вчера? Вчера, 14-го... Вчера? Но вчера Орлов был дома, и сегодня утром он еще был дома... Что за чепуха!.. Но ведь его нет! Нужно не медлить. Сейчас же к Семенухину!»

Пальцы рвали пуговицы мохнатого пальто. Трудно было надеть модную широкую шляпу: она все время лезла набок.

Бэла выбежала в переднюю. Встретила доктора.

— Вы куда, Марго?

— Ах, я не могу сидеть дома,— почти простонала Бэла.— Я уверена, что Леон у одного знакомого. Поеду туда! Если даже не застану, мне на людях будет легче.

— Ну, ну! Дай бог! Только не расстраивайтесь вы так. Ничего с ним не случится. Не убьют и не арестуют, как Орлова.

Бэла нашла силы, чтобы ответить, смеясь:

— Бог мой, какое сравнение! Леон же не большевик.

На улице вскочила в пролетку. Извозчик ехал невыносимо медленно и все время пытался разговориться.

— Я так, барыня, думаю насчет властев, что всякая

власть, она чистая сволота, значит. Потому, как скажем, невозможно, чтоб всех людей заделать министрами, и потому всегда недовольствие будет и, следовательно, властев резать будут...

— Да поезжайте вы без разговоров! — крикнула Бэла.

Капитан Туманович

Люди на улицах с удивлением наблюдали утром, как десять солдат, с винтовками наперевес, вели по мостовой, грубо сгоняя встречных с дороги, хорошо одетого человека, шедшего спокойно и с достоинством.

Арестованный был необычен для белых. Люди уже твердо привыкли, что при большевиках водят в чеку почтенных людей, а при добровольцах замусоленных и закопченных рабочих или курчавых мальчиков и стриженых девочек.

Поэтому праздные обыватели пытались спрашивать у солдат о таинственном преступнике, но солдаты молча тыкали штыками или грубо матерились.

Конвой свернул в переулок. Орлов, выспавшийся и пришедший в себя, зорко осмотрел дом. Его ввели в парадное, заставили подняться по лестнице и в маленькой комнатке с ободранными обоями сдали под расписку черноглазому хорошенькому прапорщику.

Посадили на скамью, рядом стали двое часовых. Прапорщик, очевидно новичок, с волнением и сожалением посмотрел на него.

— Как же вас угораздило так вляпаться? Ай-яй!..— сказал он почти грустно.

Орлов посмотрел на него, и его тронуло мальчишеское сочувствие.

— Ничего! Бывает! Я долго здесь не останусь!

Прапорщик удивился.

— Что, вы хотите удрать? Ну, у нас не удерешь. У нас дело поставлено прочно! — сказал он с такой же мальчишеской гордостью.— Не нужно было попадаться! Сейчас доложу о вас капитану Тумановичу!

Орлов осмотрелся. В комнате стоял письменный стол, два разбитых шкафа, несколько стульев и скамья, на которой он сидел. Окно упиралось в глухой кирпичный брандмауер. Он хотел подняться и посмотреть, но часовой нажал ему на плечо.

— Цыц! Сиди смирно, сволочь!

Орлов закусил губу и сел. Через несколько минут прапорщик вернулся.

— Отведите в кабинет капитана Тумановича!

Солдаты повели по длинному пыльному коридору, и Орлов внимательно считал количество дверей и повороты. Наконец часовой раскрыл перед ним дверь, на которой висела табличка с кривыми, наспех написанными рыжими чернилами буквами:

«СЛЕДОВАТЕЛЬ ПО ОСОБО ВАЖНЫМ ДЕЛАМ КАПИТАН ТУМАНОВИЧ»

Капитан Туманович неспешно и размеренно ходил по комнате из угла в угол и остановился на полдороге, увидя входивших.

Он подошел к столу, сел, положил перед собой лист бумаги и тогда сказал часовым:

— Выйдите и встаньте за дверью.— И, обращаясь к Орлову: — Вы бывший председатель губчека Орлов?

Орлов молча придвинул стул и сел. У капитана дрогнула бровь.

— Кажется, я не просил вас садиться?

— Плевать мне на вашу просьбу! — резко сказал Орлов.— Я устал!

Он положил локти на стол и начал в упор разглядывать капитана.

У Тумановича было вытянутое исхудалое лицо, высокий желтоватый прозрачный лоб и игольчатые, ледяные синие глаза. Левая бровь часто и неприятно дергалась нервным тиком.

— Я мог бы заставить вас уважать мои требования,— сказал он холодно,— но, впрочем, это не имеет значения. Будьте любезны отвечать: вы Орлов?

— Во избежание лишних разговоров считаю нужным довести до вашего сведения, что ни на какие вопросы я отвечать не буду! Напрасно трудитесь!

Туманович вписал быстро несколько строк в протокол допроса и равнодушно вскинул на Орлова синие ледяшки глаз.

— Это мною предусмотрено! Собственно говоря, я не рассчитываю допрашивать вас в том смысле, как это принято понимать. Довольно глупо было бы ожидать, что вы заговорите. Но это — необходимая формальность. Мы действуем на строгом основании процессуальных норм.

Он помолчал, как бы ожидая возражения. Орлов вспомнил слова полковника и едва заметно улыбнулся.

Капитан слегка покраснел.

— Единственно, чего судебная власть, представляемая в данном случае мною, ожидает от вас, это некоторой помощи. Нами арестованы, кроме вас, еще несколько сотрудников губчека. Часть их захвачена в эшелоне, ушедшем в утро занятия города. Все они предстанут перед судом. Чтобы разобраться в обвинительном материале, мы находим полезным ознакомить вас с ним, и вы, надеюсь, не откажете сообщить, что в нем факты и что вымысел.

— Не беспокойтесь, капитан... Я не имею ни малейшего желания знакомиться с этим материалом.

— Но подумайте, господин Орлов! Могут быть ошибки, могут быть обвинения, возведенные на почве личных счетов. Время сумбурное. Проверить фактически нет возможности. Установив, где правда и где ложь, вы можете облегчить судьбу тех из ваших сотрудников, над которыми тяготеют ложные обвинения.

Орлов пожал плечами.

— Мне очень печально, капитан, что я причиняю вам такое огорчение. Но неужели вы думаете поймать меня на эту удочку? Все обвинения, которые я буду отрицать, будут, конечно, посчитаны за действительные... Я думал, вы мыслите более логично!

Капитан опять покраснел и завертел ручку в худых пальцах.

— Вы не хотите понять меня, господин Орлов! Вы все еще считаете себя во власти контрразведки. Но вы не правы! Мы могли бы заставить вас говорить. Для этого есть средства, правда выходящие из рамок законности, но ведь вся наша эпоха несколько выходит из рамок законности. Но я юрист, я мыслю юридически, я связан понятиями этики права и категорически осуждаю методы полковника Розенбаха.

— Особенно после того, как полковник Розенбах доставил меня в ваши руки? Какой подлостью нужно обладать, чтобы сказать спокойно такую фразу!

Туманович стиснул ручку в пальцах так, что она затрещала.

— Хорошо! Значит, вы ничего не скажете! Тогда я перейду к вопросу, лично меня интересующему. До сих пор мне приходилось иметь дело только с двумя категориями ваших единомышленников: первая — мелкий уго-

ловный элемент, видящий в поддержке вашего режима удобнейшее средство легкой наживы; вторая — бывшие люди физического труда, в большинстве случаев хорошие малые, но опьяневшие до потери мышления от хмеля ваших посулов, одураченные. Те и другие малоинтересны. В вашем лице мне впервые приходится столкнуться с крупным теоретиком и практиком вашего режима, и я затрудняюсь уяснить себе — к какой же категории принадлежите вы, руководители и вожди?

— Меня тоже интересует, к какой категории вашего режима отнести вас, капитан: к крупноуголовной или одураченной? — грубо и со злобой спросил Орлов.

— Зачем вы стараетесь оскорбить меня, господин Орлов? Вы ведь видите ясно, надеюсь, разницу между тем обращением, которое вы испытали в контрразведке и здесь. Я больше не допрашиваю вас, как следователь. Я интересуюсь вами, как явлением, психологическая база которого для меня загадочна. Неужели на эту тему мы не можем говорить спокойно — для выяснения вопроса?

— Я считал вас умнее, капитан! Я не игрушка для вас, еще меньше я гожусь для роли толкователя ваших недоумений, особенно в моем положении. Отсюда вы пойдете домой обедать, а меня в виде благодарности за лекцию отошлете к стенке! Нам не о чем говорить! Я прошу вас кончить!

— Одну минутку,— сказал Туманович,— мне хочется знать,— поверьте, что это мне крайне важно,— действительно ли вы верите в осуществимость выброшенных вами лозунгов или... это бесшабашный авантюризм?

— Вы это скоро узнаете, господин капитан, на собственном опыте. Здесь же, в этом городе, через два — три месяца, когда камни мостовых будут слать в вас пули.

— Значит, организация у вас здесь продолжает работать? — спросил, прищурившись, капитан.

Орлов засмеялся.

— Хотите поймать на слове? Да, капитан, работает и будет работать. Хотите знать, где она? Везде! В домах, на улицах, в воздухе, в этих стенах, в сукне на вашем столе. Не смотрите на сукно с испугом! Она невидима! Эти камни, известка, сукно пропитаны потом и кровью, тех, кто их делал, и они смертельно ненавидят, да эти мертвые вещи живо и смертельно ненавидят тех, кому они должны служить. И они уничтожат вас, они вернутся к настоящим хозяевам-творцам! Это будет ваш последний день.

Туманович с интересом взглянул на Орлова.

— Вы хорошо говорите, господин Орлов! Вы, наверное, умеете захватывать массы. Ваша речь образна и прекрасна. Нет... нет, я не смеюсь! И вы очень твердый человек. Я чувствую в вас подлинный огонь и огромную внутреннюю силу. С точки зрения моих убеждений, вы заслужили смерть. Думаю, вы сказали бы мне то же, если бы я был в ваших руках. Око за око и зуб за зуб! Из уважения к масштабу вашей личности я приложу все усилия, чтобы ваша смерть была легкой и не сопровождалась теми переживаниями, которые, к сожалению, вынуждены переносить у нас люди, отказывающиеся от дачи показаний. Я мог бы немедленно, в виду ваших слов, отослать вас в сад пыток полковника Розенбаха. Но вы Орлов, а вот передо мной выдержка из агентурных сведений: «Орлов Дмитрий. Партиец с шестого года. Фанатичен. Огромное хладнокровие, до дерзости смел. Чрезвычайно опасный агитатор. Исключительная честность». Видите, какая полнота!

Капитан позвал часовых.

— До свидания, господин Орлов!

— До свиданья, капитан! Надеюсь, нам не долго встречаться!

Две страницы

Химическим карандашом. Листки в клеточку из блокнота:

«Сколько здесь крыс!.. Голохвостые, облезлые, чрезвычайно важные.

Иногда собираются в кружок, штук по десяти, гордо встают на задние лапы и пищат...

Тогда... (несколько слов не разобрано) и кажется, что это деловое собрание чинных сановников, департамент крысиного государственного совета.

Пишу при спичках... Освещения никакого...

...по всей вероятности эти листки пойдут в практическое употребление и не выйдут из стен...

На всякий случай...

Константин... Ты помнишь сегодняшний разговор... (не разобрано).

...убедился, что силы, даже мои, имеют какой-то предел. Для какого черта нервы?.. Поручик Соболевский, который

арестовал меня, говорит: «Врачи будут вырезать ту часть мозга, где гнездится дух протеста, революция».

Нужно вырезать нервы, которые... (не разобрано), усталость и ослабление воли. Я говорил, что после внешнего толчка, нанесенного лжеарестом, я потерял управление волей.

Лицом можно владеть всегда, тело может изменить...

Я знаю, ты думаешь... не сдержал слово, сдался добровольно...

Вздор... Нет и нет. Глупую вспышку мгновенно забыл. Попался случайно... Идиотски...

...(не разобрано) мороженого, услыхал, офицеришка рассказывал, как арестовали моего двойника... Нужно было узнать до конца... возможность устроить побег. Хотел узнать, где сидит этот лопоухий...

...(не разобрано) не знали. «Он вам поможет...»

Знаешь, кого я узнал?.. Помнишь Севастополь, отступление... Помнишь офицера, который на твоих и моих глазах застрелил на улице Олега?.. Да... Тогда его звали Корневым... у них в контрразведке тоже псевдонимы.

...не удержался... Сидел против него и думал: «Нашел и не выпущу»... Тянуло, как комара на огонь. В обычном состоянии ушел бы... Тут не мог — отрава, в сознании, что он в моих руках. И когда пьяный предложил ехать с ним в разведку... поехал... Теперь вспоминаю: заметив мое волнение, он сбил со стола бутылки. Тогда прошло мимо... сознание, воля ослабели...

...думал, действительно пьян, высосу из него все... Даже думал о его последней минуте.

...(не разборчиво), что паршивая жизнь дрянного контрразведчика не нужна, не изменит ничего... Это и есть следствие нервов... схватили, как цыпленка.

...дешево не отдамся... Еще не потеряно. Бежали из худших положений. Почти уверен,— скоро увидимся и пишу так... на всякий случай.

Запомни все же фамилию: Соболевский... В последние минуты организуй, чтобы не ушел... Ты помнишь голову Олега на тротуаре, кровь, серые и розовые брызги?.. Вот!

Прекрасный артист... Переиграл меня... Правда! нервы, но это не оправдание.

...(не разобрано) судьба Б... Хорошая девочка, но экспансивна, не станет подлинной партийкой... Если попалась, приложи все силы... (не разобрано) выручить...

...(не разобрано) завтра... (не разобрано)... озаботься,

чтобы при нас тюрьму почистили... здесь страшное свинство... (разобрано с трудом).

Спички кончились... Тьма египетская, все равно ничего не разберешь...»

Отречение

На углу Бэла отпустила извозчика. Бежала по глухой окраинной улице.

Поднявшийся ветер рвал шляпу, забирался леденящими струйками под пальто.

Кто-то проходивший нагнулся, заглянул под шляпку. Сказал вслух:

— Хорошенькая цыпка,— и повернул вслед.

Бэла остановилась. Преследующий подошел, увидел глаза, переполненные тоской и презрением.

— Я требую, чтобы вы оставили меня в покое!..

Смешался.

— Простите, сударыня! Я не знал!..

Приподнял шляпу и ушел. Бэла дрожа вскочила в калитку, пробежала садиком.

На условный стук открыл Семенухин со свечой. В другой руке (было ясно) держал за спиной револьвер. Глаза круглились, и в них металось тревожное пламя свечи.

— Бэла?.. К-каким в-ветром?.. Что-ниб-будь случилось?

— Орлов!..

— Тсс! Идите в к-комнату. Скорее!.. Ну, в ч-чем дело?

— Орлов... арестован!

Семенухин схватил руки. Бэла вскрикнула.

— Ай!.. Мне же больно!

Опомнился, выпустил руки.

Спросил глухо и зло:

— Где, к-как?..

— Я ничего не знаю... Тут какое-то недоразумение... Вот газета. Сказано вчера, но сегодня утром он был дома... Я не понимаю... Но он сказал, что будет дома в семь вечера. До десяти не было. Я не могла!.. Поехала к вам!

Семенухин швырнул протянутую газету. Помолчал.

— Я эт-то ч-читал! Но с-сегодня п-после эт-того он б-был здесь у меня. Неужели?..

Увидел, что Бэла, задыхаясь, прислонилась к стене... Едва успел подхватить и посадить на стул.

Спокойно налил воды в стакан, набрал в рот и прыснул в лицо. Щеки медленно порозовели.

— Ну, оч-чнитесь! Нельзя т-так! Ост-тавайтесь ночевать здесь! На квартиру в-вам ни в коем с-случае нельзя в-возвращаться. Я с-сейчас уйду. Нужно срочно в-выяснить. Если т-только!..— Семенухин сжал кулаки и остановился.

Набросил пальто и ушел.

. . . .

Утром Бэлу разбудил его голос, странный, твердый, как палка.

— Вст-тавайте! Я узнал! Арест-тован в-вчера вечером. Я т-так и думал. Имейте в виду,— он остановился и взглянул прямо в глубь глаз Бэлы,— что Орлов б-больше не с-существует ни для в-вас, ни для меня, ни для п-партии. Он совершил п-предательство.

Бэла смотрела непонимающими глазами.

— Да, п-предательство!.. Он б-был вчера у м-меня и заявил, что он сдается, чтоб-бы сп-пасти эт-того арест-ованного муж-жика. Я зап-претил ему от имени партии и Ревкома. Он дал ч-честное слово и нарушил его... Он п-предатель, и мы вычеркиваем его!..

Бэла поднялась.

— Орлов сдался?.. Сам?.. Не поверю! Этого не может быть!

— Я лгать не с-стану. Мне это т-тяжелей, чем вам.

Бэла вспыхнула.

— Вы, Семенухин, дерево, машина!.. Я не могу!.. Поймите. Я... люблю его! Я для него пошла на это... на возможность провала... на верную смерть.

— Тт-тем хуже,— спокойно ответил Семенухин,— оч-чень жаль, чт-то вы избрали себе т-такой объект. Сейчас я с-созову экстренное соб-брание Ревкома для суда над Орловым... П-партии не нужны слаб-бодушные Маниловы. Вот!

Бэла спросила, задохнувшись:

— Это правда?.. Вы не шутите, Семенухин?

— Мне к-кажется, время не для шут-ток!

Бэла отошла к окну. По вздрагиваниям спины Семенухин видел, что она плачет.

Но молчал каменным молчанием.

Наконец Бэла повернулась. Слезы заливали глаза.

— Что? — спросил Семенухин.

И сам вздрогнул, услыхав напряженый, тугой и неломкий голос.

— Если это правда... я отказываюсь!.. Я презираю свою любовь!

Госпомилуй

Капитан Туманович пришел в комиссию вечером и, взявши ручку, раскрыл дело «Особой Комиссии по расследованию зверств большевиков, при Верховном Главнокомандующем вооруженными силами Юга России».

Уверенным, круглым и размашистым почерком вписал несколько строк, потом отложил перо, рассеянно поглядел в синюю муть окна и, подвинув удобнее стул, стал писать заключение.

Тонкий нос капитана вытянулся над бумагой, и стал он похож на хитрого муравьеда, разрывающего муравьиную кучу.

Когда скользили из-под прилежного пера последние строки, в дверь осторожно постучались. Капитан не слыхал. Стук повторился.

Туманович нехотя оторвался, и синие ледяшки были одно мгновение тусклыми и непонимающими.

Вошедший прапорщик приложил руку к козырьку и сказал с таинственностью романтического злодея:

— Господин капитан, арестованный Орлов доставлен по вашему приказанию.

— Приведите сюда... И, пожалуйста, приведите сами. Вчера солдаты завоняли весь кабинет махоркой, а я совершенно не переношу этого аромата. Будьте добры и не обижайтесь.

Орлов сидел в приемной на скамье. Солдаты двинулись вести его, но прапорщик взял у одного винтовку.

— Я сам отведу! Пожалуйте, господин Орлов!

Они вышли в коридор.

— Видите, какой почетный караул,— конфузясь, сказал прапорщик,— капитан приказал.— И добавил смешливо: — Ну как, вы еще не надумали удрать?

— Для вашего удовольствия постараюсь не задержать.

— Ах, мне очень хотелось бы посмотреть!.. Вы знаете, по секрету, ей-богу, я даже хотел бы, чтоб у вас это вышло. Я очень люблю такие штуки!

Орлов засмеялся.

— Хорошо! Я вас ие обижу! Будете довольны!

В кабниете Туманович подал Орлову лнст бумаги и перо.

— Я вызвал вас только иа мииуту. Распишнтесь, что вы читалн заключение.

— Какое?

— Следствеиное заключеиие.

— И только?.. А если я не желаю?

Тумановнч пожал плечами.

— Как хотите! Это нужно для формальиости!

Орлов молча черкиул фамилию под заключеинем.

— Все?

— Все! Прапорщнк! Уведнте арестоваииого!

Фраза, брошениая прапорщиком иа ходу в корндоре, всколыхнула Орлова.

И, выходя нз кабннета капнтана, ои успоканвал себя, сжимая волю в тугую пружнну.

В длиниом корндоре было три поворота между комнатой прапорщика н кабннетом Тумановнча. Тускло горела в середнне заснженная мухамн лампочка.

Орлов неспешно шел впередн прапорщнка. Поравнялся с лампочкой.

Мгновенный поворот... Внитовка вылетела из рук офнцера, перевернулась, и штык уперся в горло, прнтнсиув прапорщнка, слабо пнскнувшего, к стене.

— Молчать!.. Ни звука!.. Веди к выходу нлн подохиешь!

— На улнце часовые,— шепнул офнцер.

— Веди во двор! Хотел вндеть, как удеру,— получай!

Прапорщик отделнлся от стены. Губы у него дрожали, но улыбалнсь. На цыпочках он двниулся по корндору, чувствуя спиной тонкое острне под лопаткой.

Однн поворот, другой. Почти полная темнота, смутио белеет дверь.

Орлов глубоко вздохнул.

— Здесь,— сказал прапорщик, берясь за ручку.

Дверь распахнулась мгновенно, блеснул яркнй свет. Орлов увидел мельком малеиькую убориую, стульчак и раковииу.

И, прежде чем он успел опомииться, дверь захлопиулась за офнцером и резко щелкиула задвижка.

Он оказался один в темиоте коридора, обмаиутый, ие зная, куда идти.

Из уборной ии звука.

Орлов тихо выругался и бросился назад, сжимая винтовку и прижимаясь к стене. Где-то хлопнула дверь, и он замер на месте.

В ту же минуту за его спиной оглушительно грохнуло, и, обернувшись, он увидел в двери уборной маленькую светящуюся дырочку.

Грохнуло второй раз.

И сразу захлопали двери в коридоре и забоцали бегущие шаги.

Тогда, вскинув винтовку, Орлов яростно крикнул:

— А, сволочь!.. Подыхай же в сортире!

И, спокойно целясь, выпустил все четыре патрона в дверь уборной, вздрагивая от невероятно гулких ударов винтовки в глухом коридоре.

Кто-то налетел сзади, схватил за руки. Орлов рванулся, но сейчас же треснули тяжелым по голове, и он упал на грязный пол, ударившись челюстью.

Тяжелый сапог наступил ему на затылок, другой уперся в живот.

Кто-то кричал:

— Веревку... тащи веревку!

Его держали три человека; врезаясь в руки и ноги, опутывала жесткая веревка.

Подняли и посадили, прислонив к стене.

— Где Терещенко? — спросил высокий офицер.

— Черт его знает! Ничего тут не разберешь в темноте! Наверно, он его прихлопнул! У кого спички?

— Ná зажигалку.

— Нету!.. Нигде!..

— Да он в ватере!.. Смотри, дверь прострелена!..

— Ах ты, черт!.. Убил мальчишку!

Высокий перепрыгнул через Орлова и рванул дверь уборной.

Она затрещала и подалась.

— Дергай сильнее!

Высокий рванул еще, задвижка не выдержала, и дверь с грохотом вылетела, хлопнувшись о стенку.

На смывном баке, под потолком, поджав ноги, вытянув руку с браунингом, вцепившись другой в водопроводную трубу, сидел черноглазый прапорщик с мертвенно-бледным лицом, дрожащей челюстью и ошалелыми, бессмысленными зрачками.

Губы его непрерывно и быстро шевелились, и замолк-

шие в коридоре явственно услыхали безостановочное бормотание.

— Господи помилуй... госпомилуй... госпомилуй... госпомилуй!

— Опупел парень! — сказал один из офицеров.— Терещенко! Слезай, черт тебя подери!

Но прапорщик продолжал шептать, и вдруг офицеры оглянулись с испугом на лающие звуки.

Приткнувшись к стене коридора, неподвижно сидел Орлов и неудержимо хохотал.

— Здорово!.. Теперь и этот свернулся!..

— В чем дело?.. Что вы тут возитесь! Снимите прапорщика с его фортеции! Молодец! Догадался на бак влезть! А господина Орлова ко мне!

Капитан Туманович пошел к себе. Два офицера подняли Орлова и, пронеся по коридору, втащили в кабинет.

— Посадите на стул!.. Вот так! Можете идти! Выпейте воды, господин Орлов.

Капитан налил воды и поднес к губам Орлова.

Он с жадностью выпил, все еще вздрагивая от смеха.

— Однако вы человек исключительной смелости и решительности! Не будь, по счастью, этот милый юноша столь сметливым, задали бы вы работку полковнику Розенбаху. Второй раз уже, наверно, не пришлось бы мне с вами увидеться. Хорошо было задумано, господин Орлов!

— Идите к черту,— отрезал Орлов.

— Нет!.. Я совершенно серьезно и кроме того...

На столе загнусил полевой телефон. Капитан снял трубку.

«К сожалению, невозможно»

— Слушаю.

Трубка затрещала в ухо, и Туманович узнал ласковый барский баритон адъютанта комкора, корнета Хрущова.

— Туманович, собачья душа! Это ты?

— Я... Ты что в такую пору?

— Погоди, все по порядку. С Маем припадок. Как в Гишпании на арене, озверел и землю рогами роет. Никому подойти невозможно, даже коньяк боятся денщики внести. «Убьет»,— говорят.

— Да почему?

— Два несчастья, брат, сразу. Во-первых, сегодня его

пассия эта, ну, знаешь, Лелька, сперла бриллианты и деньги и дала драпу, и предполагают, что со Сиятковским... Он и осатанел. А второе, получили радио, что дивизия Чернецова обделалась под Михайловским хутором, и сам Чернецов... ау!

— Убит?

— Нет!.. Есть сведения, что в плену. Большевики предлагают обмен. Начальник штаба предложил Маю устроить обмен Чернецова на твоего гуся. Май и согласился. Так что прими официально телефонограмму.

Капитан оглянулся на Орлова. Арестованный сидел, полузакрыв глаза, усталый и потрясенный.

Туманович пожал плечами и бросил в трубку четко, напирая на слова:

— Передай его превосходительству, что вследствие новых обстоятельств это предложение невыполнимо, так как только что,— капитан снова оглянулся на Орлова,— арестованный Орлов покушался на побег и убийство прапорщика Терещенко.

Орлов приподнялся.

— Фьить,— просвистела трубка,— здорово! Ну, а как же быть с Чернецовым?

— Найдем другого для обмена. А если Чернецова «товарищи» и спишут в расход, то, право же, большой беды не будет! Несколько тысяч комплектов обмундирования останутся нераскраденными.

— Пожалуй, ты прав... Сейчас доложу Маю,— сказал корнет,— ты жди!

Капитан положил трубку.

— Однако вы беспощадны к своим соратникам,— сказал Орлов.

Синие ледяшки капитана обдали Орлова злым холодком.

— Я вообще не щажу преступников, где бы и кто бы они ни были. Это только у вас: кто больше ворует, тот выше залезает!

— У вас неправильная информация, капитан, — усмехнулся Орлов.

— Может быть. А вот вы сами себе подгадили...

— Чем?

— Не устрой вы этой штуки с побегом, могли бы словчиться в обмен. Теперь же я буду категорически настаивать на скорейшей ликвидации вас.

— Чрезвычайно вам признателен!

Телефои опять запел гнусавую песенку:

— Да... Слушаю! Так!.. Я так и думал! Сейчас будет сделано! Да... да! До свиданья! Нет, в театр ие поеду: ие до того!

Капитан обернулся к Орлову.

— Генерал утвердил предание вас военно-полевому суду. Сейчас вас отправят в камеру. Моя роль окончена! Прощайте, господин Орлов!

Простая вещь

Военно-полевой суд заседал полчаса.

Председательствовавший полковник пошептался с членами суда, прокашлялся и лениво прочел:

— «По указу Верховного Главнокомандующего военно-полевой суд Н-го корпуса, заслушав дело о мещанине Дмитрии Орлове, члене партии большевиков, бывшем председателе губернской чрезвычайной комиссии, 32 лет, по обвинению вышеозначенного Орлова... постановил: подсудимого Орлова подвергнуть смертной казни через повешение. Приговор подлежит исполнению в 24 часа. Приговор окончательный и обжалованию не подлежит».

Орлов равнодушно прослушал приговор и бросил только коротко:

— Прослушал с удовольствием...

Его отвезли в камеру. До ночи он сидел спокойно и безучастно.

Но лихорадочно бились в черепной коробке мысли, и он обдумывал возможность побега по дороге к месту казни.

«Один раз бежал так в Казани... Прямо из петли... Ну и теперь глупо гибнуть... как баран».

Он злобно выругался.

Заходил по камере и вдруг услышал в коридоре шаги и голоса. Опять томительно завизжала дверь, и в камеру хлынул золотой свет фонаря.

— Останьтесь здесь! Я скоро выйду!..— услыхал он знакомый, как показалось, голос, и в камеру вошел человек. Лицо его было в тени от фонаря, и только когда он сказал: «Господин Орлов!» — Орлов узнал капитана Тумановича.

Темная буря ярости заклокотала в нем. Он шагнул к капитану.

— Какого черта вам надо? Что вы тычете сюда свою иезуитскую рожу? Убирайтесь к...!

Капитан спокойно поставил фонарь на пол.

— Всего несколько минут, господин Орлов. Я пришел сюда, найдя официальный предлог, выяснение одной детали. Но суть вовсе не в этом. Могу сообщить вам, что генерал утвердил приговор. Он только заменил повешение расстрелом, так как ему влетело на днях от верховного за висельничество. Но это ничего не меняет.

— Так что же? Вы явились лично исполнить приговор?

— Бросьте дерзости, господин Орлов. Совсем не для этого я пришел к вам. Повторяю, что говорил: с точки зрения моей законности, вы заслужили смерть. Я очень сожалел бы, если бы пришлось обменять вас на старого казнокрада Чернецова, ибо дарить жизнь такому врагу — величайшая политическая ошибка. Теперь ваша судьба решена бесповоротно. Но вспомните, я обещал вам легкую смерть. Мне неприятно, что вы станете мишенью для делающих под себя от страха стрелков... Берите!..

Капитан протянул руку. Тускло сверкнул стеклянный пузырек.

Неожиданно взволнованный, Орлов схватил пузырек. Оба молчали. Капитан наклонил голову.

— Прощайте, господин Орлов!

Но Орлов вплотную подошел к нему и сунул пузырек обратно.

— Не нужно! — сказал он полнозвучным и недрогнувшим голосом.

— Почему?..

— О господин капитан! Я вам весьма обязан за вашу любезность, но не воспользуюсь ею. Я переиграл, как дурак попался в лапы вашим прохвостам и не смог выполнить порученное мне партией дело, но и не имею права портить это дело дальше.

— Я не понимаю!

— Вы никогда этого не поймете! А между тем это *такая простая вещь!* Я погубил доверенное мне дело,— я должен теперь хоть своей смертью исправить свою ошибку. Вы предлагаете мне тихо и мирно покончить с собой? Не доставить последнего удовольствия вашим палачам? Не знаю, почему вы это делаете!..

— Не думайте, что из жалости...— перебил капитан.

— Допустим!.. Лично для меня это прекрасный выход. Но у вас, капитан, своя психология. В эту минуту меня

интересует не моя личность, а наше дело. Мой расстрел, когда о нем станет известно, будет лишним ударом по вашему гниющему миру. Он зажжет лишнюю искру мести в тех, кто за мной. А если я тихонько протяну здесь ноги, это даст повод сказать, что неумевший провести порученную ему работу Орлов испугался казни и отравился, как забеременевшая институтка... Жил для партии и умру для нее. Видите, какая простая вещь!

— Понимаю, — спокойно сказал Туманович.

Орлов прошелся по камере и снова остановился перед капитаном.

— Господин капитан! Вы формалист, педант, вы насквозь пропитаны юридическими формулами. Вы человек в футляре, картонная душа, папка для дел! Но вы по-своему твердый человек. Есть одно обстоятельство, которое невероятно мучительно для меня... Был один разговор... Словом, я боюсь, что мои товарищи думают, что я добровольно сдался вам... И я боюсь, что они презирают меня... Я этого боюсь!.. Понимаете? Я боюсь!

Капитан молчал и ковырял носком плиту пола.

— Я отказался от дачи показаний... Но... у меня две написанные здесь страницы! Они объясняют все. Приобщите их к делу. Когда город будет снова в наших руках... Вы понимаете?

— Хорошо, — сказал Туманович, — давайте! Не разделяю вашей уверенности насчет города, но...

Он взял листки и, аккуратно свернув, положил в боковой карман.

Орлов шагнул вперед.

— Нет... нет! Я вам не...

Капитан отклонился с улыбкой.

— Не беспокойтесь, господин Орлов. Мы на разных полюсах, но у меня свои и вполне четкие понятия о следовательской тайне и личной чести.

Орлов круто повернулся. Волнение давило, его нужно было спрятать.

— Я не благодарю вас!.. Уходите!.. Уходите скорее, капитан... пока я не ударил вас!.. Я не хочу больше вас видеть!

— Знаете, — тихо ответил Туманович, — я хотел бы от своей судьбы, чтобы в день, когда мне придется умирать за мое дело, мне была послана такая же твердость!

Он взял с полу фонарь.

— Прощайте, господин Орлов. — Туманович остано-

вился, точно испугавшись, и в желтой зыби свечи Орлов увидел протянутую к нему худую ладонь капитана.

Он спрятал руки за спину.

— Нет... это невозможно.

Ладонь вздрогнула.

— Почему? — спросил капитан. — Или вы боитесь, что это принесет вред вашему делу? Но об этом ведь ваши товарищи не узнают!

Орлов усмехнулся и крепко сжал худые, костлявые пальцы.

— Я ничего не боюсь! Прощайте, капитан! Желаю вам тоже хорошей смерти!

Капитан вышел в коридор.

Темь бесшумным водопадом ринулась в камеру. Ключ в замке щелкнул, как твердо взведенный курок.

Ленинград, июль 1924 г.

Сорок первый

Памяти
Павла Дмитриевича Жукова

Глава первая,

написанная автором исключительно в силу необходимости

Сверкающее кольцо казачьих сабель под утро распалось на мгновение на севере, подрезанное горячими струйками пулемета, и в щель прорвался лихорадочным последним упором малиновый комиссар Евсюков.

Всего вырвались из смертного круга в бархатной котловине малиновый Евсюков, двадцать три и Марютка.

Сто девятнадцать и почти все верблюды остались распластанными на промерзлой осыпи песка, меж змеиных саксауловых петель и красных прутиков тамариска.

Когда доложили есаулу Бурыге, что остатки противника прорвались, повертел он звериной лапищей мохнатые свои усы, зевнул, растянув рот, схожий с дырой чугунной пепельницы, и рыкнул лениво:

— А хай их! Не гоняться, бо коней морить не треба. Сами в песке подохнут. Бара-бир!

А малиновый Евсюков с двадцатью тремя и Марюткой увертливым махом степной разъяренной чекалки убегали в зернь-пески бесконечные.

Уже не терпится читателю знать, почему «малиновый Евсюков»?

Все по порядку.

Когда заткнул Колчак ощеренным винтовками человечьим месивом, как тугой пробкой, Оренбургскую линию, посадив на зады обомлелые паровозы — ржаветь в глухих тупиках,— не стало в Туркестанской республике черной краски для выкраски кож.

А время пришло грохотное, смутное, кожаное.

Брошенному из милого уюта домовых стен в жар и ледынь, в дождь и вёдро, в пронзительный пулевой свист человечьему телу нужна прочная покрышка.

Оттого и пошли на человечестве кожаные куртки.

Красились куртки повсюду в черный, отливающий сизью стали, суровый и твердый, как владельцы курток, цвет.

И не стало в Туркестане такой краски.

Пришлось ревштабу реквизировать у местного населения запасы немецких анилиновых порошков, которыми расцвечивали в жар-птичьи сполохи воздушные шелка своих шалей ферганские узбечки и мохнатые узорочья текинских ковров сухогубые туркменские жены.

Стали этими порошками красить бараньи свежие кожи, и заполыхала туркестанская Красная Армия всеми отливами радуги — малиновыми, апельсиновыми, лимонными, изумрудными, бирюзовыми, лиловыми.

Комиссару Евсюкову судьба в лице рябого вахтера вещсклада отпустила по наряду штаба штаны и куртку ярко-малиновые.

Лицо у Евсюкова сызмалолетства тоже малиновое, в рыжих веснушках, а на голове вместо волоса нежный утиный пух.

Если добавить, что росту Евсюков малого, сложения сбитого и представляет всей фигурою правильный овал, то в малиновой куртке и штанах похож — две капли воды — на пасхальное крашеное яйцо.

На спине у Евсюкова перекрещиваются ремни боевого снаряжения буквой «Х», и кажется, если повернется комиссар передком, должна появиться буква «В».

Христос воскресе!

Но этого нет. В пасху и Христа Евсюков не верит.

Верует в Совет, в Интернационал, чеку и в тяжелый вороненый наган в узловатых и крепких пальцах.

Двадцать три, что ушли с Евсюковым на север из смертного сабельного круга, красноармейцы как красноармейцы. Самые обыкновенные люди.

А особая между ними Марютка.

Круглая рыбачья сирота Марютка, из рыбачьего поселка, что в волжской, распухшей камыш-травой, широководной дельте под Астраханью.

С семилетнего возраста двенадцать годов просидела верхом на жирной от рыбьих потрохов скамье, в брезентовых негнущихся штанах, вспарывая ножом серебряно-скользкие сельдяные брюха.

А когда объявили по всем городам и селам набор добровольцев в Красную, тогда еще гвардию, воткнула вдруг Марютка нож в скамью, встала и пошла в негнущихся штанах своих записываться в красные гвардейцы.

Сперва выгнали, после, видя неотступно ходящей каждый день, погоготали и приняли красногвардейкой, на рав-

ных с прочими правах, но взяли подписку об отказе от бабьего образа жизни и, между прочим, деторождения до окончательной победы труда над капиталом.

Марютка — тоненькая тростиночка прибрежная, рыжие косы заплетает венком под текинскую бурую папаху, а глаза Марюткины шалые, косо прорезанные, с желтым кошачьим огнём.

Главное в жизни Марюткиной — мечтание. Очень мечтать склонна и еще любит огрызком карандаша на любом бумажном клоке, где ни попадется, выводить косо клонящимися в падучей буквами стихи.

Это всему отряду известно. Как только приходили куданибудь в город, где была газета, выпрашивала Марютка в канцелярии лист бумаги.

Облизывая языком сохнущие от волнения губы, тщательно переписывала стихи, над каждым ставила заглавие, а внизу подпись: *Стих Марии Басовой.*

Стихи были разные. О революции, о борьбе, о вождях. Между другими о Леиине.

Ленин герой наш пролетарский,
Поставим статуй твой на площаде,
Ты низвергнул дворец тот царский
И стал ногою на труде.

Несла стихи в редакцию. В редакции пялили глаза на тоненькую девушку в кожушке, с кавалерийским карабином, удивленно брали стихи, обещали прочитать.

Спокойно оглядев всех, Марютка уходила.

Заинтересованный секретарь редакции вчитывался в стихи. Плечи его подымались и начинали дрожать, рот расползался от несдерживаемого гогота. Собирались сотрудники, и секретарь, захлебываясь, читал стихи.

Сотрудники катались по подоконникам: мебели в редакции в те времена не было.

Марютка снова появлялась утром. Упорно глядя в дергающееся судорогами лицо секретаря немигающими зрачками, собирала листки и говорила нараспев:

— Значит, невозможно народовать? Необделанные? Уж я их из самой середки, ровно как топором, обрубаю, а все плохо. Ну, еще потрудюсь,— ничего не поделаешь! И с чего это они такие трудные, рыбья холера? А?

И уходила, пожимая плечами, нахлобучив на лоб туркменскую свою папаху.

Стихи Марютке не удавались, но из винтовки в цель садила она с замечательной меткостью. Была в евсюков-

ском отряде лучшим стрелком и в боях всегда находилась при малиновом комиссаре.

Евсюков показывал пальцем:

— Марютка! Гляди! Офицер!

Марютка прищуривалась, облизывала губы и не спеша вела стволом. Бухал выстрел, всегда без промаха.

Она опускала винтовку и говорила каждый раз:

— Тридцать девятый, рыбья холера. Сороковой, рыбья холера.

«Рыбья холера» — любимое словцо у Марютки.

А матерных слов она не любила. Когда ругались при ней, супилась, молчала и краснела.

Данную в штабе подписку Марютка держала крепко. Никто в отряде не мог похвастать Марюткиной благосклонностью.

Однажды ночью сунулся к ней только что попавший в отряд мадьяр Гуча, несколько дней поливавший ее жирными взглядами. Скверно кончилось. Еле уполз мадьяр, без трех зубов и с расшибленным виском. Отделала рукояткой револьвера.

Красноармейцы над Марюткой любовно посмеивались, но в боях берегли пуще себя.

Говорила в них бессознательная нежность, глубоко запрятанная под твердую ярко-цветную скорлупу курток, тоска по покинутым дома жарким, уютным бабьим телам.

Такими были ушедшие на север, в беспросветную зернь мерзлых песков, двадцать три, малиновый Евсюков и Марютка.

Пел серебряными вьюжными трелями буранный февраль. Заносил мягкими коврами, ледянистым пухом увалы между песчаными взгорбьями, и над уходящими в муть и буран свистало небо — то ли ветром диким, то ли назойливым визгом крестящих воздух вдогонку вражеских пуль.

Трудно вытаскивались из снега и песка отяжелевшие ноги в разбитых ботах, хрипели, выли и плевались голодные шершавые верблюды.

Выдутые ветрами такыры блестели соляными кристаллами, и на сотни верст кругом небо было отрезано от земли, как мясничьим ножом, по ровной и мутной линии низкого горизонта.

Эта глава, собственно, совершенно лишняя в моем рассказе.

Проще бы мне начать с самого главного, с того, о чем речь пойдет в следующих главах.

Но нужно же читателю знать, откуда и как появились остатки особого гурьевского отряда в тридцати семи верстах к норд-весту от колодцев Кара-Кудук, почему в красноармейском отряде оказалась женщина, отчего комиссар Евсюков — малиновый и много еще чего нужно знать читателю.

Уступая необходимости, я и написал эту главу.

Но, смею уверить вас, она не имеет никакого значения.

Глава вторая,

в которой на горизонте появляется темное пятно, обращающееся при ближайшем рассмотрении в гвардии поручика Говоруху-Отрока

От колодцев Джан-Гельды до колодцев Сой-Кудук семьдесят верст, оттуда до родника Ушкан еще шестьдесят две.

Ночью, ткнув прикладом в раскоряченный корень, сказал Евсюков промерзшим голосом:

— Стой! Ночевка!

Разожгли саксауловый лом. Горел жирным копотным пламенем, и темным кругом мокрел вокруг огня песок.

Достали из вьюков рис и сало. В чугунном котле закипела каша, едко пахнущая бараном.

Тесно сгрудились у огня. Молчали, лязгая зубами, стараясь спасти тело от знобящих пальцев бурана, заползающих во все прорехи. Грели ноги прямо на огне, и заскорузлая кожа ботов трещала и шипела.

Стреноженные верблюды уныло позвякивали бубенцами в белесой поземке.

Евсюков скрутил козью ножку трясущимися пальцами. Выпустил дым, а с дымом выдавил натужно:

— Надо обсудить, значит, товарищи, куды теперь подаваться.

— Куды подашься,— отозвался мертвый голос из-за костра,— все равно каюк-кончина. На Гурьев вертаться невозможно, казачни наперло — чертова сила. А, окромя Гурьева, смотаться некуда.

— На Хиву разве?

— Хы-ы! Сказанул! Шестьсот верст без малого по Каракумам зимой? А жрать что будешь? Вшей разве в портках разведешь на кавардак?

Загрохотали смехом, но тот же мертвый голос безнадежно сказал:

— Один конец — подыхать!

Сжалось сердце у Евсюкова под малиновыми латами, но, не показав виду, яростно оборвал говорившего:

— Ты, мокрица! Панику не разводь! Подыхать каждый дурень может, а нужно мозгом помурыжить, чтобы не подохнуть.

— На хворт Александровский можно податься. Тама свой брат, рыбалки.

— Не годится,— бросил Евсюков, — было донесение, Деника десант высадил. И Красноводский и Александровский у беляков.

Кто-то сквозь дрему надрывисто простонал.

Евсюков ударил ладонью по горячему от костра колену. Отрубил голосом:

— Баста! Один путь, товарищи, на Арал! До Арала как добредем, так немаканы по берегу кочуют, поживимся — и в обход на Казалинск. А в Казалинске фронтовой штаб. Там и дома будем.

Отрубил — замолчал. Самому не верилось, что можно дойти.

Подняв голову, спросил рядом лежащий:

— А до Арала что шамать будем?

И опять отрубил Евсюков:

— Штаны подтянуть придется. Не велики князья! Сардины тебе с медом подавать? Походишь и так. Рис пока есть, муки тоже малость.

— На три перехода?

— Что ж на три! А до Черныш-залива — десять отседова. Верблюдов шестеро. Как продукт поедим — верблюдов резать будем. Все едино ни к чему. Одного зарежем, мясо на другого — и дальше. Так и допрем.

Молчали. Лежала у костра Марютка, облокотившись на руки, смотрела в огонь пустыми, немигающими кошачьими зрачками. Смутно стало Евсюкову.

Встал, отряхнул с куртки снежок.

— Кончь! Мой приказ — на заре в путь. Може, не все дойдем,— шатнулся вспуганной птицей комиссарский голос,— а идти нужно... потому, товарищи... революция вить... За трудящих всего мира!

Смотрел поочередно комиссар в глаза двадцати трех. Не видел уже огня, к которому привык за год. Мутны были глаза, уклонялись, и метались под опущенными ресницами отчаяние и недоверие.

— Верблюдов пожрем, потом друг дружку жрать придется.

Опять молчали.

И внезапно визгливым бабьим голосом закричал исступленно Евсюков:

— Без рассуждениев! Революционный долг знаешь? Молчок! Приказал — кончено! А то враз к стенке.

Закашлялся и сел.

И тот, что мешал кашу шомполом, неожиданно весело швырнул в ветер:

— Чево сопли повесили? Тюпайте кашу — дарма варил, что ли? Вояки, едрена вошь!

Выхватывали ложками густые комья жирного распухшего риса, ожигаясь, глотали, чтобы не остыло, но, пока глотали, на губах налипала густая корка заледеневшего противно-стеаринового сала.

Костер дотлевал, выбрасывая в ночь палево-оранжевые фонтаны искр. Еще теснее прижимались, засыпали, храпели, стонали и ругались спросонья.

Уже под утро разбудили Евсюкова быстрые толчки в плечо. Трудно разлепив примерзшие ресницы, схватился, дернулся по привычке окостенелой рукой за винтовкой.

— Стой, не ершись!

Нагнувшись, стояла Марютка. В желто-сером дыму бурана поблескивали кошачьи огни.

— Ты что?

— Вставай, товарищ комиссар! Только без шуму! Пока вы дрыхли, я на верблюде прокатилась. Караван киргизий идет с Джан-Гельдов.

Евсюков перевернулся на другой бок. Спросил, захлебнувшись:

— Какой караван, что врешь?

— Ей-пра... провалиться, рыбья холера! Немаканы! Верблюдов сорок!

Евсюков разом вскочил на ноги, засвистал в пальцы. С трудом поднимались двадцать три, разминая не свои от стужи тела, но, услыхав о караване, быстро приходили в себя.

Поднялись двадцать два. Последний не поднялся. Лежал, кутаясь в попону, и попона тряслась зыбкой дрожью от бьющегося в бреду тела.

— Огневица! — уверенно кинула Марютка, пощупав пальцами за воротом.

— Эх, черт! Что делать будешь? Накройте кошмами,

пусть лежит. Вернемся — подберем. В какой стороне караван, говоришь?

Марютка взмахнула рукой к западу.

— Не дально! Верстов шесть. Богаты немакаиы. Вьюков на верблюдах — во!

— Ну, живем! Только не упустить. Как завидим, обкладай со всех сторон. Ног не жалей. Которы справа, которы слева. Марш!

Зашагали ниточкой между барханами, пригибаясь, бодрея, разогреваясь от быстрого хода.

С плоенной песчаными волнами верхушки бархана увидели вдалеке, на плоском, что обеденный стол, такыре, темные пятна вытянутых в линию верблюдов.

На верблюжьих горбах тяжело раскачивались вьюки.

— Послал восподь! Смилостивился,— упоенно прошептал рябой молоканин Гвоздев.

Не удержался Евсюков, обложил:

— Восподь?.. Доколе тебе говорить, что нет никакого воспода, а на все своя физическая линия.

Но некогда было спорить. По команде побежали прыжками, пользуясь каждой складочкой песка, каждым корявым выползком кустарника. Сжимали до боли в пальцах приклады: знали, что нельзя, невозможно упустить, что с этими верблюдами уйдут надежда, жизнь, спасение.

Караван проходил неспешно и спокойно. Видны уже были цветные кошмы на верблюжьих спинах, идущие в теплых халатах и волчьих малахаях киргизы.

Сверкнув малиновой курткой, вырос Евсюков на гребне бархана, вскинул на изготовку. Заорал трубным голосом:

— Тохта! Если ружье есть — клади наземь. Без тамаши, а то всех угроблю.

Не успел докричать,— оттопыривая зады, повалились в песок перепуганные киргизы.

Задыхаясь от бега, скакали со всех сторон красноармейцы.

— Ребята, забирай верблюдов! — орал Евсюков.

Но, покрыв его голос, от каравана ударил вдруг ровный винтовочный залп.

Щенками тявкали обозленные пули, и рядом с Евсюковым ткнулся кто-то в песок головой, вытянув недвижные руки.

— Ложись!.. Дуй их, дьяволов!..— продолжал кричать Евсюков, валясь в выгреб бархана. Защелкали частые выстрелы.

Стреляли из-за залегших верблюдов неведомые люди.

Непохоже было, чтобы киргизы. Слишком меткий и четкий был огонь.

Пули тюкались в песок у самых тел залегших красноармейцев.

Степь грохотала перекатами, но понемногу затихали выстрелы от каравана.

Красноармейцы начали подкатываться перебежками.

Уже шагах в тридцати, вглядевшись, увидел Евсюков за верблюдом голову в меховой шапке и белом башлыке, а за ней плечо, и на плече золотая полоска.

— Марютка! Гляди! Офицер! — повернул голову к подползшей сзади Марютке.

— Вижу.

Неспешно повела стволом. Треснул раскат.

Не то обмерзли пальцы у Марютки, не то дрожали от волнения и бега, но только успела сказать: «Сорок первый, рыбья холера!» — как, в белом башлыке и синем тулупчике, поднялся из-за верблюда человек и поднял высоко винтовку. А на штыке болтался наколотый белый платок.

Марютка швырнула винтовку в песок и заплакала, размазывая слезу по облупившемуся грязному лицу.

Евсюков побежал на офицера. Сзади обогнал красноармеец, размахиваясь на ходу штыком для лучшего удара.

— Не трожь!.. Забирай живьем,— прохрипел комиссар.

Человека в синем тулупчике схватили, свалили на землю.

Пятеро, что были с офицером, не поднялись из-за верблюдов, срезанные колючим свинцом.

Красноармейцы, смеясь и ругаясь, тащили верблюдов за продетые в ноздри кольца, связывали по нескольку.

Киргизы бегали за Евсюковым, виляя задами, хватали его за куртку, за локти, штаны, снаряжение, бормотали, заглядывали в лицо жалобными узкими щелками.

Комиссар отмахивался, убегал, зверел и, сам морщась от жалости, тыкал наганом в плоские носы, в обветренные острые скулы.

— Тохта, осади! Никаких возражениев!

Пожилой, седобородый, в добротном тулупе, поймал Евсюкова за пояс.

Заговорил быстро-быстро, ласково пришептывая:

— Уй-бай... Плоха делал... Киргиз верблюда жить нада. Киргиз без верблюда помирать пошел... Твоя, бай, так не делай. Твоя деньги хотит — наша дает. Серебряна день-

га, царская деньга... киренка бумаж... Скажи, сколько твоя давать, верблюда назад дай?

— Да пойми же ты, дубовая твоя голова, что нам тоже теперь без верблюдов подыхать. Я ж не граблю, а по революционной надобности, во временное пользование. Вы, черти немаканые, пехом до своих добредете, а нам смерть.

— Уй-бай. Никорош. Отдай верблюда — бири абаз, киренки бери,— тянул свое киргиз.

Евсюков вырвался.

— Ну тя к сатане! Сказал, и кончено. Без разговору. Получай расписку, и все тут.

Он ткнул киргизу нахимиченную на лоскуте газеты расписку.

Киргиз бросил ее в песок, упал и, закрыв лицо, завыл.

Остальные стояли молча, и в косых черных глазах дрожали молчаливые капли.

Евсюков отвернулся и вспомнил о пленном офицере.

Увидел его между двумя красноармейцами. Офицер стоял спокойно, слегка отставив правую ногу в высоком шведском валенке, и курил, с усмешкой смотря на комиссара.

— Кто такой есть? — спросил Евсюков.

— Гвардии поручик Говоруха-Отрок. А ты кто такой? — спросил в свою очередь офицер, выпустив клуб дыма.

И поднял голову.

И когда посмотрел в лица красноармейцев, увидели Евсюков и все остальные, что глаза у поручика синие-синие, как будто плавали в белоснежной мыльной пене белка шарики первосортной французской синьки.

Глава третья,

о некоторых неудобствах путешествия в Средней Азии без верблюдов и об ощущениях спутников Колумба

Сорок первым должен был стать в Марюткином счете гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Но то ли от холода, то ли от волнения промахнулась Марютка.

И остался поручик в мире лишней цифрой на счету живых душ.

По приказу Евсюкова выворотили пленнику карманы и в замшевом френче его, на спине, нашли потайной кармашек.

Взвился поручик на дыбы степным жеребенком, когда красноармейская рука нащупала карман, но крепко держали его, и только дрожью губ и бледностью выдал волнение и растерянность.

Добытый холщовый пакетик Евсюков осторожно развернул на своей полевой сумке и, неотрывно впиваясь глазами, прочитал документы. Повертел головой, задумался.

Было обозначено в документах, что гвардии поручик Говоруха-Отрок, Вадим Николаевич, уполномочен правительством верховного правителя России адмирала Колчака представлять особу его при Закаспийском правительстве генерала Деникина.

Секретные же поручения, как сказано было в письме, поручик должен был доложить устно генералу Драценко.

Сложив документы, Евсюков бережно сунул их за пазуху и спросил поручика:

— Какие такие ваши секретные поручения, господин офицер? Надлежит вам рассказать все без утайки, как вы есть в плену у красных бойцов и я командующий комиссар Арсентий Евсюков.

Вскинулись на Евсюкова поручичьи ультрамариновые шарики.

Ухмыльнулся поручик, шаркнул ножкой:

— Monsieur Евсюков?.. Оч-чень рад познакомиться! К сожалению, не имею полномочий от моего правительства на дипломатические переговоры с такой замечательной личностью.

Веснушки Евсюкова стали белее лица. При всем отряде в глаза смеялся над ним поручик.

Комиссар вытащил наган:

— Ты, моль белая! Не дури! Или выкладывай, или пулю слопаешь!

Поручик повел плечом:

— Балда ты, хоть и комиссар! Убьешь — вовсе ничего не слопаешь!

Комиссар опустил револьвер и чертыхнулся.

— Я тебя гопака плясать заставлю, сучье твое мясо. Ты у меня запоешь,— буркнул он.

Поручик так же улыбался одним уголком губ.

Евсюков плюнул и отошел.

— Как, товарищ комиссар? В рай послать, что ли? — спросил красноармеец.

Комиссар почесал ногтем облупленный нос.

— Не... не годится. Это заноза здоровая. Нужно в Ка-

залиск доставить. Там с него в штабе всё дознание сиимут.

— Куда ж его еще, черта, таскать? Сами дойдем ли?

— Афицерей, что ль, вербовать начали?

Евсюков выпрямил грудь и цыкнул:

— Твое какое дело? Я беру — я и в ответе. Сказал!

Обериувшись, увидел Марютку.

— Во! Марютка! Препоручаю тебе их благородие! Смотри в оба глаза. Упустишь — семь шкур с тебя сдеру!

Марютка молча вскииула виитовку иа плечо. Подошла к пленному:

— А иу-ка поди сюды. Будешь у меия под караулом. Только ие думай, раз я баба, так от меия убечь можно. На триста шагов иа бегу сниму. Раз промазала, в другой раз ие иадейся, рыбья холера.

Поручик скосил глаза, дрогнул смехом и изысканио поклоиился:

— Польщеи быть в плену у прекрасиой амазонки.

— Что?.. Чего еще мелешь? — протяиула Марютка, окииув поручика уиичтожающим взглядом.— Шаитрапа! Небось, кроме падекатра таицевать, другого и дела ие зиаешь? Пустого не трепли! Топай копытами. Шагом марш!

В этот деиь заиочевали иа берегу малеиького озерка. Из-подо льда прелью и йодом воияла соленая вода.

Спали здорово. С киргизских верблюдов посиимали кошмы и ковры, завернулись, укутались — теплыиь райская.

Гвардии поручика иа иочь крепко связала Марютка шерстяиым верблюжьим чумбуром по рукам и ногам, завила чумбур вокруг пояса, а коиец закрепила у себя иа руке.

Кругом ржали. Лупастый Семяниый крикиул:

— Глянь, бра, Марютка милово привораживает. Наговориым корнем!

Марютка повела глазом на ржущих.

— Брысьте к собакам, рыбья холера! Смешки... А если убегиет?

— Дура! Что ж, у иего две башки? Куды бечь в пески?

— В пески не в пески, а так вериее. Спи ты, кавалер чумелый.

Марютка толкнула поручика под кошму, сама привалилась сбоку.

Сладко спать под шерстистой кошмой, под духмяным войлоком. Пахнет от войлока степиым июльским зноем,

полынью, ширью зернь-песков бесконечных. Нежится тело, баюкается в сладчайшей дреме.

Храпит под ковром Евсюков, в мечтательной улыбке разметалась Марютка, и, сухо вытянувшись на спине, поджав тонкие, красивого выреза, губы, спит гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Один часовой не спит. Сидит на краю кошмы, на коленях винтовка-неразлучница, ближе жены и зазнобушки.

Смотрит в белесую снеговую сутемь, где глухо брякают верблюжьи бубенчики.

Сорок четыре верблюда теперь. Путь прям, хоть и тяжек.

Нет больше сомнения в красноармейских сердцах.

Рвет, заливается посвистами ветер, рвется снежными пушинками часовому в рукава. Ежится часовой, поднимает край кошмы, набрасывает на спину. Сразу перестает колоть ледяными ножами, оттеплевает застывшее тело.

Снег, муть, зернь-пески.

Смутная азийская страна.

— Верблюды где?.. Верблюды, матери твоей черт!.. Анафема... сволочь рябая! Спать?.. Спать?.. Что ж ты наделал, подлец? Кишки выпущу!

У часового голова идет кругом от страшного удара сапогом в бок. Мутно водит глазами часовой.

Снег и муть.

Сутемь дымная, утренняя. Зернь-пески.

Нет верблюдов.

Где паслись верблюды, следы верблюжьи и человечьи. Следы остроносых киргизских ичигов.

Шли, наверно, тайком всю ночь киргизы, трое, за отрядом и в сон часового угнали верблюдов.

Столпясь, молчат красноармейцы. Нет верблюдов. Куда гнаться? Не догонишь, не найдешь в песках...

— Расстрелять тебя, сукина сына, мало! — сказал Евсюков часовому.

Молчит часовой, только слезы в ресницах замерзли хрусталиками.

Вывернулся из-под кошмы поручик. Поглядел, свистнул. Сказал с усмешечкой:

— Дисциплиночка советская! Олухи царя небесного!

— Молчи хоть ты, гнида! — яростно зыкнул Евсюков и не своим, одеревенелым шепотом бросил: — Ну, что ж стоять? Пошли, братцы!

Только одиннадцать гуськом, в отрепьях, шатаясь, вперевалку карабкаются по барханам.

Десятеро ложились вехами на черной дороге.

Утром мутнеющие в бессилье глаза раскрывались в последний раз, стыли недвижными бревнами распухшие ноги, вместо голоса рвался душный хрип.

Подходил к лежащему малиновый Евсюков, но уже не одного цвета с курткой было комиссарское лицо. Высохло, посерело, и веснушки по нему, как старые медные грошики.

Смотрел, качал головой. Потом ледяное дуло евсюковского нагана обжигало впавший висок, оставив круглую, почти бескровную, почернелую ранку.

Наскоро присыпали песком и шли дальше.

Изорвались куртки и штаны, разбились в лохмотья боты, обматывали ноги обрывками кошм, заматывали тряпками отмороженные пальцы.

Десять идут, спотыкаясь, качаясь от ветра.

Один идет прямо, спокойно.

Гвардии поручик Говоруха-Отрок.

Не раз говорили красноармейцы Евсюкову:

— Товарищ комиссар! Что ж долго его таскать? Только порцию жрет задарма. Опять же одежа, обужа у него хороша, поделить можно.

Но запрещал Евсюков трогать поручика.

— В штаб доставлю или с ним вместе подохну. Он много порассказать может. Нельзя такого человека зря бить. От своей судьбы не уйдет.

Руки у поручика связаны в локтях чумбуром, а конец чумбура у Марютки за поясом. Еле идет Марютка. На снеговом лице только играет кошачья желть ставших громадными глаз.

А поручику хоть бы что. Побледнел только немного.

Подошел однажды к нему Евсюков, посмотрел в ультрамариновые шарики, выдавил хриплым лаем:

— Черт тебя знает! Двужильный ты, что ли? Сам щуплый, а тянешь за двух. С чего это в тебе сила такая?

Повел губы поручик всегдашней усмешкой. Спокойно ответил:

— Не поймешь. Разница культур. У тебя тело подавляет дух, а у меня дух владеет телом. Могу приказать себе не страдать.

— Вона что,— протянул комиссар.

Дыбились по бокам барханы, мягкие, сыпучие, волни-

стые. На верхушках их с шипеньем змеился от ветра песок, и казалось, никогда не будет конца им.

Падали в песок, скрежеща зубами. Выли удавленно:

— Не пойду даля. Оставьте отдохнуть. Мочи нет.

Подходил Евсюков, подымал руганью, ударами.

— Иди! От революции дезертировать не могишь.

Подымались. Шли дальше. На вершину бархана выполз один. Обернувшись, показал дико ощеренный череп и провопил:

— Арал!.. братцы!..

И упал ничком. Евсюков через силу взбежал на бархан. Ослепляющей синевой мазнуло по воспаленным глазам. Зажмурился, заскреб песок скрюченными пальцами.

Не знал комиссар о Колумбе и о том, что так точно скребли пальцами палубу каравелл испанские мореходы при крике: «Земля!»

Глава четвертая,

в которой завязывается первый разговор Марютки с поручиком, а комиссар снаряжает морскую экспедицию

На берегу на второй день наткнулись на киргизский аул.

Вначале дунуло из-за барханов острым душком кизячного дыма, и от запаха сжало желудки едкой спазмой.

Закруглились вдали рыжие купола юрт, и с ревом помчались навстречу мохнатые низкорослые собачонки.

Киргизы столпились у юрт, удивленно и жалостно смотрели на подходящих, на шаткие человечьи остатки.

Старик с продавленным носом погладил сперва редкие пучки бороденки, потом грудь. Сказал, кивнув:

— Селям алекюм. Куда такой идош, тюря?

Евсюков слабо пожал поданную дощечкой шершавую ладонь.

— Красные мы. На Казалинск идем. Примай, хозяин, покорми. За нас тебе благодарность от Совета выйдет.

Киргиз потряс бороденкой, зачмокал губами:

— Уй-бай... Кирасни аскер. Большак. Сентир пришел?

— Не, тюря! Не из центра мы. От Гурьева бредем.

— Гурьяв? Уй-бай, уй-бай. Каракум ишел?

В киргизских щелочках заискрился страх и уважение к полинялому малиновому человеку, который в февральскую стужу прошел пешком страшные Каракумы от Гурьева до Арала.

Старик похлопал в ладоши, гортанно проворковал подбежавшим женщинам.

Взял комиссара за руку:

— Иди, тюря, кибитка. Испи мала-мала. Сыпишь, палав ашай.

Свалились полумертвыми тюками в дымное тепло юрт, спали без движения до сумерек. Киргизы наготовили плова, угощали, дружелюбно поглаживали красноармейцев по вылезшим на спинах острым лопаткам.

— Ашай, тюря, ашай! Твоя немного высохла. Ашай — здорова будишь!

Ели жадно, быстро, давясь. Животы вздувались от жирного плова, и многим становилось дурно. Отбегали в степь, дрожащими пальцами лезли в горло, облегчались и снова наваливались на еду. Разморенные и распаренные, уснули опять.

Не спали лишь Марютка и поручик.

Сидела Марютка у тлеющих углей мангала, и не было в ней памяти о пройденной муке.

Вытащила из сумки заветный охвостень карандаша, вытягивала буквы на выпрошенном у киргизки листе иллюстрированного приложения к «Новому времени». Во весь лист был напечатан портрет министра финансов графа Коковцева, и поперек коковцевского высокого лба и светлой бородки ложились в падучей Марюткины строки.

А вокруг пояса Марюткина по-прежнему окручен чумбур, и другим концом крепко держал чумбур скрещенные за спиной кисти поручика.

Только на час развязала Марютка чумбур, чтобы дать поручику наесться плова, но только отвалился от котла, связала опять.

Красноармейцы хихикали:

— Тю, ровно пса цепная.

— Втрескалась, Марютка? Вяжи, вяжи миленького. А то не ровен час,— припрет на ковре-самолете по воздуху Марья Маревна, украдет любезного.

Марютка не удостоила ответом.

Поручик сидел, прислонясь плечом к столбу юрты. Следил ультрамариновыми шариками за трудными потугами карандаша.

Подался вперед всем корпусом и тихо спросил:

— Что пишешь?

Марютка покосилась на него из-под сбившейся рыжей пряди:

— Тебе какая суета?
— Может, письмо иужио иаписать? Ты продиктуй — я напишу.
Марютка тихоиько засмеялась.
— Ишь ты, проворяга! Это тебе, зиачит, руки развяжи, а ты меия по рылу да в бега! Не иа ту напал, сокол. А помочи твоей мие ие требуется. Не письмо пишу, а стих.
Ресницы поручика распахиулись веерами. Ои отделился спиной от столба:
— Сти-и-их? Ты сти-ихи пишешь?
Марютка прервала карандашные судороги и залилась краской.
— Ты что взбутился? А? Ты думаешь, тебе только падекатры плясать, а я дура мужицкая? Не дурее тебя!
Поручик развел локтями, кисти ие двигались.
— Я тебя дурой и ие считаю. Только удивляюсь. Разве сейчас время для стихов?
Марютка совсем отложила карандаш. Взбросилась, рассыпав по плечу ржавую бронзу.
— Чудак — поглядеть иа тебя! По-твоему, стихи в пуховике писать надо? А ежели душа у меня кипит? Если вот мечтаю озиачить, как мы, голодиые, холодиые, по пескам перли! Все выложить, чтоб у людей в грудях сперло. Я всю кровь в их вкладаю. Только иародовать ие хотят. Говорят — учиться иадобио. А где ж ты время возьмешь иа ученье? От сердца пишу, с простоты!
Поручик медлеиио улыбнулся:
— А ты прочла бы! Очеиь любопытио. Я в стихах понимаю.
— Не поймешь ты. Кровь в тебе барская, склизкая. Тебе про цветочки да про бабу описать иадо, а у меия все про бедиый люд, про революцию,— печальио пророиила Марютка.
— Отчего же ие поиять? — ответил поручик.— Может быть, оии для меия чужды содержаиием, ио поиять человеку человека всегда можио.
Марютка иерешительио перевернула Коковцева вверх ногами. Потупилась.
— Ну, черт с тобой, прослушь! Только ие смейся. Тебя, может, папеиька до двадцати годов с гибериерами обучал, а я сама до всего дошла.
— Нет!.. Честиое слово, не буду смеяться!
— Тогда слушь! Тут все прописаио. Как мы с казаками бились, как в степу ушли.

Марютка кашлянула. Понизила голос до баса, рубила слова, свирепо вращая глазами:

Как казаки наступали,
Царской свиты палачи,
Мы встренули их пулями,
Красноармейцы молодцы,
Очень много тех казаков,
Нам пришлося отступать.
Евсюков геройским махом
Приказал сволочь прорвать.
Мы их били с пулемета,
Пропадать нам все одно,
Полегла вся наша рота,
Двадцатеро в степь ушло.

— А дальше никак не лезет, хоть ты тресни, рыбья холера, не знаю, как верблюдов вставить? — оборвала Марютка пресекшимся голосом.

В тени были синие шарики поручика, только в белках влажно доцветал лиловатыми отсветами веселый жар мангала, когда, помолчав, он ответил:

— Да... здорово! Много экспрессии, чувства. Понимаешь? Видно, что от души написано.— Тут все тело поручика сильно дернулось, и он, как будто икнув, спешно добавил: — Только не обижайся, но стихи очень плохие. Необработанные, неумелые.

Марютка грустно уронила листок на колени. Молча смотрела в потолок юрты. Пожала плечами:

— Я ж и говорю, что чувствительные. Плачет у меня все нутро, когда обсказываю про это. А что необделанные — это везде сказывают, точь-в-точь как ты. «Ваши стихи необработанные, печатать нельзя». А как их обделать? Что в их за хитрость? Вот вы ентиллегент, может, знаете? — Марютка в волнении даже назвала поручика на вы.

Поручик молчал.

— Трудно ответить. Стихи, видишь ли,— искусство. А всякое искусство ученья требует, у него свои правила и законы. Вот, например, если инженер не будет знать всех правил постройки моста, то он или совсем его не выстроит, или выстроит, но безобразный и негодный в работе.

— Так то ж мост. Для его арихметику надо произойти, разные там анженерные хитрости. А стихи у меня с люльки в середке заложены. Скажем, талант?

— Ну что ж? Талант и развивается ученьем. Инженер потому и инженер, а не доктор, что у него с рождения склонность к строительству. А если он не будет учиться, ни черта из него не выйдет.

— Да?.. Вон ты какая оказия, рыбья холера! Ну вот, воевать кончим, обязательно в школу пойду, чтоб стихам выучили. Есть поди такие школы?

— Должно быть, есть,— ответил задумчиво поручик.

— Обязательно пойду. Заели они мою жизнь, стихи эти самые. Так и горит душа, чтоб натискали в книжке и подпись везде проставили: «Стих Марии Басовой».

Мангал погас. В темноте ворчал ветер, копаясь в войлоке юрты.

— Слышь ты, кадет,— сказала вдруг Марютка,— болят, чай, руки-то?

— Не очень! Онемели только!

— Вот что. Ты мне поклянись, что убечь не хочешь. Я тебя развяжу.

— А куда мне бежать? В пески? Чтоб шакалы задрали? Я себе не враг.

— Нет, ты поклянись. Говори за мной. Клянусь бедным пролетариятом, который за свои права, перед красноармейкой Марией Басовой, что убечь не хочу.

Поручик повторил клятву.

Тугая петля чумбура расплелась, освободив затекшие кисти.

Поручик с наслаждением пошевелил пальцами.

— Ну, спи,— зевнула Марютка,— теперь, если убегнешь,— последний подлец будешь. Вот тебе кошма, накройся.

— Спасибо, я полушубком. Спокойной ночи, Мария...

— Филатовна,— с достоинством дополнила Марютка и нырнула под кошму.

Евсюков спешил дать знать о себе в штаб фронта.

В ауле нужно было отдохнуть, отогреться и отъесться. Через неделю он решил двинуться по берегу, в обход, на Аральский поселок, оттуда на Казалинск.

На второй неделе из разговора с пришлыми киргизами комиссар узнал, что верстах в четырех осенней бурей на берег залива выбросило рыбачий бот. Киргизы говорили, что бот в полной исправности. Так и лежит на берегу, а рыбаки, должно быть, потонули.

Комиссар отправился посмотреть.

Бот оказался почти новый, желтого крепкого дуба. Буря не повредила его. Только разорвала парус и вырвала руль.

Посоветовавшись с красноармейцами, Евсюков положил отправить часть людей сейчас же, морем, в устье Сыр-Дарьи. Бот свободно поднимал четырех с небольшим грузом.

— Так-то лучше,— сказал комиссар.— Во-первых, значит, пленного скорей доставим. А то, черт весть, опять что по пути случится. А его обязательно до штаба доперетъ нужно. А потом в штабе о нас узнают, навстречу конную помогу вышлют с обмундированием и еще чем.

При попутном ветре бот в три-четыре дня пересечет Арал, а на пятые сутки и Казалинск.

Евсюков написал донесение; зашил его в холщовый пакетик с документами поручика, которые все время берег во внутреннем кармане куртки.

Киргизки залатали парус кусками маты, комиссар сам сколотил новый руль из обломков досок и снятой с бота банки.

В февральское морозное утро, когда низкое солнце полированным медным тазом поползло по пустой бирюзе, верблюжьим волоком дотянули бот до границы льда.

Спустили на вольную воду, усадили отправляемых.

Евсюков сказал Марютке:

— Будешь за старшего! На тебе весь ответ. За кадетом гляди. Если как упустишь, лучше на свете тебе не жить. В штаб доставь живого аль мертвого. А если на белых нарветесь ненароком, живым его не сдавай. Ну, трогай!

Глава пятая,

целиком украденная у Даниэля Дефо, за исключением того, что Робинзону не приходится долго ожидать Пятницу

Арал — море невеселое.

Плоские берега, по ним полынь, пески, горы перекатные.

Острова на Арале — блины, на сковородку вылитые, плоские до глянца, распластались по воде — еле берег видать, и нет на них жизни никакой.

Ни птицы, ни злака, а дух человеческий только летом и чуется.

Главный остров на Арале Барса-Кельмес.

Что оно значит — неизвестно, но говорят киргизы, что «человечья гибель».

Летом с Аральского поселка едут к острову рыбалки.

Богатый лов у Барса-Кельмеса, кипит вода от рыбьего хода.

Но как взревут пенными зайчиками осенние моряны, спасаются рыбалки в тихий залив Аральского поселка и до весны носу не кажут.

Если до морян всего улова с острова не свезут, так и остается рыба зимовать в деревянных сквозных сараях просоленными штабелями.

В суровые зимы, когда мерзнет море от залива Чернышева до самого Барса, раздолье чекалкам. Бегут по льду на остров, нажираются соленого усача или сазана до того, что, не сходя с места, дохнут.

И тогда, вернувшись весной, когда взломает ледяную корку Сыр-Дарья желтой глиной половодья, не находят рыбалки ничего из брошенного осенью засола.

Ревут, катаются по морю моряны с ноября по февраль. А в остальное время изредка только налетают штормики, а летом стоит Арал недвижным — драгоценное зеркало.

Скучное море Арал.

Одна радость у Арала — синь-цвет необычайный.

Синева глубокая, бархатная, сапфирами переливается.

Во всех географиях это отмечено.

Рассчитывал комиссар, отправляя Марютку и поручика, что в ближайшую неделю надо ждать тихой погоды. И киргизы по стародавним приметам своим то же говорили.

Потому и пошел бот с Марюткой, поручиком и двумя ребятами, привычными к водяному шаткому промыслу, Семянным и Вяхирем, на Казалинск морским путем.

Радостно вспучивал залатанный парус шелестящей волной ровный бриз. Сонливо скрипел в петлях руль, и закипала у борта густая масляная пена.

Развязала Марютка совсем поручиковы руки — некуда бежать человеку с лодки,— и сидел Говоруха-Отрок вперемежку с Семянным и Вяхирем на шкотах.

Сам себя в плен вез.

А когда отдавал шкоты красноармейцам, лежал на дне, прикрывшись кошмой, улыбался чему-то, мыслям своим тайным, поручичьим, никому, кроме него, не ведомым.

Этим беспокоил Марютку.

«И чего ему хихиньки все время? Хоть на сласть бы ехал, в свой дом. А то один конец.— допросят в штабе и в переделку. Дурья голова, шалый!»

Но поручик продолжал улыбаться, не зная Марюткиной думы.

Не вытерпела Марютка, заговорила:

— Ты где к воде приобык-то?

Ответил Говоруха-Отрок, подумав:

— В Петербурге... Яхта у меня своя была... Большая. По взморью ходил.

— Какая яхта?

— Судно такое... парусное.

— От-то ж! Да я яхту, чай, не хуже тебя знаю. У буржуев в клубе в Астрахани насмотрелась. Там их гибель была. Все белые, высокие да ладные, словно лебеди. Я не про то спрашиваю. Прозывалась как?

— «Нелли».

— Это что ж за имя такое?

— Сестру мою так звали. В честь ее и яхта.

— Такого и имени христианского нету.

— Елена... А Нелли по-английски.

Марютка замолчала, посмотрела на белое солнце, изливавшееся холодным блистающим медом. Оно сползало вниз, к бархатной синей воде.

Заговорила опять:

— Вода! Чистая синь в ей. В Каспицком зеленя, а тут, гляди ж ты, до чего сине!

Поручик ответил как будто в себя и для себя:

— По шкале Фореля приближается к третьему номеру.

— Чего? — беспокойно повернулась Марютка.

— Это я про себя. О воде. В гидрографии читал, что в этом море очень яркий синий цвет воды. Ученый Форель составил таблицу оттенков морской воды. Самая синяя в Тихом океане. А здешняя приближается по этой таблице к третьему номеру.

Марютка полузакрыла глаза, как будто хотела представить себе таблицу Фореля, раскрашенную разными тонами синевы.

— Здорово синя, приравнять даже трудно. Синя, как... — Она открыла глаза и внезапно остановила желтые кошачьи зрачки на ультрамариновых шариках поручика. Дернулась вперед, вздрогнула всем телом, будто открыв необычайное, раскрыла изумленно губы. Прошептала: — Мать ты моя!.. Зенки-то у тебя — точь-в-точь как синь-вода! А я гляжу, что в их такое знаемое, рыбья холера!

Поручик молчал.

Оранжевая кровь пролилась по горизонту. Вода вдали сверкала чернильными отблесками. Потянуло ледяным холодком.

— С востоку тянет,— заворошнлся Семянный, кутаясь в обрывки шииелн.

— Моряна бы не вдарила,— отозвался Вяхирь.

— Ни черта. Часа два пропрем еще — Барсу вндать будя. Чо ветер,— там заночевам.

Смолклн. Бот начало подергнвать на потемневших свинцовых гребнях.

По снзо-черному мохнатому небу протянулнсь узкне облачные полоскн.

— Так н есть. Моряна прет.

— Должно, скоро Барсу откроем. Слева на пеленге должна быть. Клятое место тая Барса. Со всех боков песок, хоть ты лопнн! Однн ветра воют... Трави, стерва, шкоты трави! Это тебе не помочи генеральские!

Поручнк не успел вовремя вытравнть шкот. Бот резнул воду бортом, н потоком пены хлестнуло по лнцам.

— Да я тут прн чем? Марья Фнлатовна на руле зевнула.

— Это я-то зевнула? Опомннсь, рыбья холера! С пятн годов на рулю сндю!

Волны нагоняли сзадн высокие, черные, похожие на драконьн хребты, хватали за борты шнпящнми челюстями.

— Эх-эх, мать!.. Скорей бы до Барсы добраться. Темно, не вндать ннчего.

Вяхирь вгляделся влево. Крнкнул радостно, звонко:

— Есть. Вона она, сволочь!

Сквозь брызги н муть замаячнла ннзкая белеющая полоса.

— Правь к берегу,— зыкнул Семянный,— дай бог дойтн!

С треском поддало корму, протяжно застоналн шпангоуты. Гребень обрушнлся на бот, налнв по щнколоткн воды.

— Черпай воду! — взвнзгнула Марютка.

— Черпай?.. Черпака черт ма!

— Хвуражкамн!

Семянный и Вяхирь сорвалн папахн, лнхорадочно выбрасывалн воду.

Поручик мгновение колебался. Снял свою меховую фннку и бросился на помощь.

Белая низкая полоса наплывала на бот, становилась плоскнм, прнпушенным снежком берегом. Он был еще белее от кнпевшей там пены.

Ветер бесился псиным воем, взбрасывал все выше колеблющиеся плескучие холмы.

Бешеным налетом бросился в парус, вздыбил его беременное брюхо, рванул.

Старая холстина лопнула с пушечным гулом.

Семянный и Вяхирь метнулись к мачте.

— Держи концы,— пронзительно взвыла с кормы Марютка, налегая грудью на румпель.

Вихрастая, шумная, ледяная, накатилась сзади волна, положила бот совсем на бок, перекатилась тяжелым стеклянным студнем.

Когда выпрямился, почти до бортов налитый водой, ни Семянного, ни Вяхиря у мачты не было. Хлестал мокрыми отрепьями разорванный парус.

Поручик сидел на дне по пояс в воде и крестился мелкими крестиками.

— Сатана!.. Чего смок? Черпай воду! — в первый раз за всю свою жизнь завернула Марютка поручика в многоэтажную ругань.

Вскочил встрепанным щенком, забрызгал водой.

Марютка кричала в ночь, в свист, в ветер:

— Семя-я-анна-аа-ай!.. Вя-яя-яхи-иинрь!

Хлестала пена. Не слышно было человеческого голоса.

— Утопли, окаянные!

Ветер нес полузатопленный бот на берег. Кипела вокруг вода. Поддало сзади, и днище шурхнуло по песку.

— Стебай в воду! — кричала Марютка, выскакивая. Поручик вывалился за ней.

— Тащи бот!

Ухватившись за конец, ослепленные брызгами, сбиваемые волной, тащили бот к берегу. Он тяжело врезался в песок. Марютка схватила винтовки.

— Забирай мешки с жратвой! Тащи!

Поручик покорно повиновался. Добравшись до сухого места, Марютка сронила винтовки в песок. Поручик сложил мешки.

Марютка крикнула еще раз в тьму:

— Семянна-ай! Вяхи-ирь!..

Безответно.

Она села на мешки и по-бабьи заплакала.

Поручик стоял сзади, часто и гулко лязгая челюстями.

Однако пожал плечами и сказал ветру:

— Черт!.. Совершенная сказка! Робинзон в сопровождении Пятницы!

Глава шестая,

в которой завязывается второй разговор и выясняется вредное физиологическое действие морской воды при температуре +2° по Реомюру

Поручик тронул Марюткино плечо.

Несколько раз пытался говорить, но мешала щелкавшая ознобом челюсть.

Подпер ее кулаком н выговорил:

— Плачем не поможешь. Идтн надо! Не сидеть же здесь! Замерзием!

Марютка подняла голову. Сказала безнадежио:

— Куда пойдешь. На острову мы. Вода вкруг.

— Идтн иадо. Я знаю, тут сарай есть.

— Откудова ты знаешь? Был тут, что лн?

— Нет, никогда не был. А когда в гимиазии учнлся — читал, что здесь рыбаки саран строят для рыбы. Нужио найтн сарай.

— Ну, иайдем, а дале что?

— Утро вечера мудреиее. Вставай, Пятница.

Марютка с испугом посмотрела на поручика.

— Ннкак рехиулся?.. Господи, боже мой!.. Что ж я делать с тобой буду? Не пятинца — середа сегодня.

— Ничего! Не обращай виимаиия. Об этом потом поговорим. Вставай!

Марютка послушио встала. Поручик иагнулся подиять ввнтовки, ио девушка перехватнла его руку.

— Стой! Не шалн!.. Слово дал мне, что не убегиешь!

Поручик рванул руку н хрипло, дико захохотал.

— Вндно, ие я с ума сошел, а ты! Ты сообразн, голова, могу я сейчас думать о побеге? А ввнтовки хочу понести потому, что тебе тяжело будет.

Марютка притихла, ио сказала мягко н серьезио:

— За помочь спасибо. А только приказ мне, чтоб тебя доставнть... Не могу, значит, тебе оружия давать, как я в ответе!

Поручик пожал плечами н подобрал мешкн. Зашагал вперед.

Песок, смешаиный со сиегом, хрустел под ногамн. Тянулся без коица ннзкий, омерзительиый своей ровностью берег.

Вдалеке засерело что-то, прнсыпанное снегом.

Марютка шаталась под тяжестью трех ввнтовок.

— Ничего, Марья Филатовна! Потерпи! Должно быть, это и есть сарай.

— Скорей бы, силы моей нет. Вся простыла.

Уткнулись в сарай. Внутри была дикая темь, тошнотворно пахло рыбной сыростью и проржавелой солью.

Рукой поручик ощупал кучи сложенной рыбы.

— Ого! Рыба есть! По крайней мере голодать не будем.

— Огня бы!.. Оглядеться. Може, какой угол найдем от ветру? — простонала Марютка.

— Ну, электричества здесь не дождешься.

— Рыбу бы зажечь... Вона жирная.

Поручик опять захохотал.

— Рыбу зажечь?.. Ты, правда, помешалась.

— Зачем помешалась? — с обидой ответила Марютка.— У нас на Волге сколь ее жгли. Чище дров горит!

— Первый раз слышу... Да зажечь как?.. Трут у меня есть, а щепы на распалку...

— Эх ты, кавалер!.. Видать, всю жизнь у маменьки под юбкой сидел. На, выворачивай пули, а я со стенки лучину подеру.

Поручик с трудом вывернул из трех винтовочных патронов пули окостеневшими пальцами. Марютка в тьме наткнулась на него со щепками.

— Сыпь сюда порох!.. Кучкой... Давай трут!

Трут затлел оранжевой точкой, и Марютка сунула ее в порох. Зашипел, вспыхнул медленным желтым огоньком, зацепил сухие щепочки.

— Готово,— обрадовалась Марютка,— бери рыбу. Сазана пожирней ташши.

На загоревшиеся лучинки сверху легла накрест рыба. Поежилась, вспыхнула жирным жарким пламенем.

— Теперь только подкладай. Рыбы на полгода хватит!

Марютка огляделась. Пламя дрожало бегающими тенями на громадных кучах сваленной рыбы. Деревянные стены были в дырках и щелях.

Марютка прошла по сараю. Крикнула откуда-то из угла:

— Есть цел угол! Подкладай рыбу, чтоб не загасла. Я тут с боков завалю. Чистую комнату устрою.

Поручик сел у костра. Ежился, отогреваясь. В углу шуршала и шлепалась перебрасываемая Марюткой рыба. Наконец она позвала:

— Готово! Ташши огня-то!

Поручик поднял за хвост горящего сазана. Прошел в

угол. Марютка с трех сторон навалила стенки из рыбы, внутри образовалось пространство в сажень.

— Залазь, разжигай. Я там в середке наложила рыбин. А я пока за припасом смотаюсь.

Поручик подложил сазана под клетку сложенной рыбы. Медленно, нехотя, она разгорелась. Марютка вернулась, поставила в угол винтовки, сложила мешки.

— Эх, рыбья холера! Ребят жаль. Ни за что утопли.

— Хорошо бы платье просушить. А то простудимся.

— За чем дело стало? От рыбы огонь жаркий. Скидай, суши.

Поручик помялся.

— Вы просушивайте, Марья Филатовна. А я там подожду пока. А потом я посушусь.

Марютка с сожалением взглянула на его дрожащее лицо.

— Ах, дурень ты, я погляжу. Барское твое понятие. Чего страшного? Никогда голой бабы не видел?

— Да, я не потому... а вам, может, неловко?

— Ерунда! Из одного мяса сделаны. Невесть какая разница! — Почти прикрикнула: — Раздевайся, идол! Ишь зубами стучишь, что пулемет. Мука мне с тобой чистая!

На составленных винтовках висело и дымилось над огнем платье.

Поручик и Марютка сидели друг против друга перед огнем, упоенно поворачиваясь к жару пламени.

Марютка внимательно, не отрываясь, глядела на белую, нежную, похудевшую спину поручика. Хмыкнула.

— До чего ж ты белый, рыбья холера! Не иначе, как в сливках тебя мыли!

Поручик густо покраснел и повернул голову. Хотел что-то сказать, но, встретив желтый отблеск, круглившийся на Марюткиной груди, опустил вниз ультрамариновые шарики.

Платье просохло. Марютка набросила на плечо кожушок.

— Поспать нужно. К завтрему, может, стихнет. Счастье — бот-то не потоп. По-тихому, может, когда-нибудь до Сыр-Дарьи допремся. А там рыбалок встренем. Ты ложиська, я за огнем погляжу. А как сон сморит, тебя сбужу. Так и подежурим.

Поручик подложил под себя платье, укрылся полушубком. Тяжело заснул и стонал во сне. Марютка неподвижно смотрела на него.

Пожала плечом.

«Навязался на мою голову! Болезный! Как бы не застудился! Дома небось в бархат-атлас кутали. Эх ты, жизнь, рыбья холера!»

Утром, когда сквозь щели в крыше засерело, Марютка разбудила поручика.

— Слышь, ты последи за огнем, а я на берег схожу. Посмотрю, может, наши-то выплыли, сидят где.

Поручик трудно поднялся. Охватил виски пальцами, глухо сказал:

— Голова болит.

— Ничего... Это с дыму да с устали. Пройдет. Лепешки возьми в мешке, усача поджарь да пошамай.

Взяла винтовку, обтерла полой кожушка и вышла.

Поручик на коленях подполз к огню, вынул из мешка размокшую черствую лепешку. Прикусил, немного пожевал, выронил кусок и мешком свалился на землю у огня.

Марютка трясла поручиково плечо. Кричала с отчаянием:

— Вставай!.. Вставай, окаянный!.. Беда!

Поручиковы глаза широко раскрылись, распахнулись губы.

— Вставай, говорю! Напасть такая! Бот волнами унесло! Пропадать нам теперь.

Поручик смотрел в лицо ей, молчал.

Вгляделась Марютка, тихо ахнула.

Были мутны и безумны поручиковы ультрамариновые шарики. От щеки, прислонившейся бессильно к Марюткиной руке, несло жаром костра.

— Застудился-таки, черт соломенный! Что ж я с тобой делать буду?

Поручик пошевелил губами.

Марютка нагнулась, расслышала:

— Михаил Иванович... Не ставьте единицу... Я не мог выучить... На завтра приготовлю...

— Чего мелешь-то? — дрогнув, спросила Марютка.

— Трезор... пиль... куропатка...— вдруг крикнул, подскочив, поручик.

Марютка отшатнулась и закрыла лицо руками.

Поручик опять упал, заскреб пальцами по песку.

Быстро, быстро забормотал неразборчивое, давясь звуками.

Марютка безнадежно оглянулась.

Сняла кожушок, бросила на песок и с трудом перетащила на него бесчувственное поручиково тело. Накрыла сверху полушубком.

Съежилась беспомощным комком рядом. По осунувшимся щекам закапали у нее медленные мутные слезы.

Поручик метался, сбрасывая полушубок, но Марютка упорно поправляла каждый раз, закутывая его до подбородка.

Увидела, что завалилась голова, подложила мешки.

Сказала вверх, как будто небу, с надрывом:

— Помрет ведь... Что ж я Евсюкову скажу? Ах ты горе!

Наклонилась над пылающим в жару, заглянула в помутневшие синие глаза.

Укололо острой болью в груди. Протянула руку и тихонько погладила разметанные вьющиеся волосы поручика. Охватила голову ладонями, нежно прошептала:

— Дурень ты мой, синеглазенький!

Глава седьмая,

вначале чрезвычайно запутанная, но под конец проясняющаяся

Трубы серебряные, а на трубах висят колокольчики.

Трубы поют, колокольчики звенят нежным таким ледяным звоном:

Тили-динь, динь, динь.

Тили-тили, длям-длям-длям.

А трубы поют свое особенное:

Ту-ту-ту-ту, ту-ту-у-ту.

Несомненно, марш. Марш. Конечно, тот самый, что всегда на парадах.

И площадь, солнцем забрызганная сквозь зеленые шелка кленов, та же.

Капельмейстер оркестром управляет.

Стал к оркестру спиной, из разреза шинели хвост выдвинул, большой рыжий лисий хвост, а на кончике хвоста золотая шишечка наверчена, в шишечку камертон вставлен.

Хвост во все стороны машет, камертон тон задает, указывает корнетам и тромбонам, когда вступать, а зазевается музыкант — тотчас камертон по лбу.

Музыканты вовсю стараются. Занятные музыканты.

Солдаты как солдаты, лейб-гвардии разных полков. Сводный оркестр.

Но ртов у музыкантов вовсе нет... Гладкое место под носом. А трубы у всех в левую ноздрю вставлены.

Правой ноздрей воздух забирают, левой в трубу вдувают, и от этого тон у труб особенный, звонкий и развеселый.

— К це-е-е-ернальному аршу и-отовсь!

— К це-риальному... На пле-е-чо!

— По-олк!

— Ба-тальон!

— Рота-ааа!

— Справа повзводно... Первый батальон шагом... арш!..

Трубы: «ту-ту-ту». Колокольчики: «днннь-динь-днннь».

Капитан Швецов лакирашами выплясывает. Зад у капитана тугой, гладкий, что окорок. Дрыг-дрыг.

— Молодцы, ребята!

— Драм-ам, ав-гав-гав!..

— Поручик!

— Поручик! Поручика к генералу!

— Какого поручика?

— Третьей роты. Говоруху-Отрока к генералу!

Генерал на лошади сидит, среди площади. Лицом красен, ус седой.

— Господин поручик, что за безобразие?

— Хи-хи-хи!.. Ха-ха-ха!

— С ума сошли?.. Смеяться?.. Да я вас, да вы с кем?

— Хо-хо-хо!.. Да вы не генерал, а кот, ваше превосходительство!

Сидит генерал на лошади. До пояса — генерал как генерал, а с пояса ноги кошачьи. Хотя бы породистого кота — так нет. Самый дворняга, серые такие, линялые коты, в полоску, по всем дворам на крышах шляются.

И когтями ноги в стремена уперлись.

— Я вас под суд, поручик! Неслыханный случай! В гвардии, и вдруг у офицера пуп навыворот!

Осмотрелся поручик и обомлел. Из-под шарфа пуп вылез, тонкой кишкой такой зеленого цвета, и кончик, пуповина самая, в центробежном движении поразительной быстроты мелькает. Схватил пуп, а он вырывается.

— Арестовать его! Нарушение присяги!

Вынул генерал из стремени лапу, когти распустил, тянется ухватить, а на лапе шпора серебряная, и вместо колечка вставлен в шпору глаз.

Обыкновенный глаз. Кругленький, желтый зрачок, остренький такой и в самое сердце поручику заглядывает.

Подмигнул ласково и говорит, как — неизвестно, глаз сам говорит:

— Не бойся!.. Не бойся!.. Наконец-то отошел!

Ручка приподняла поручикову голову, и, открыв глаза, увидел он худенькое лицо с рыжими прядями и глаз ласковый, желтый, тот самый.

— Напугал ты меня, жалостный. Неделю с тобой промучилась. Думала, не выхожу. Одни-одинешеньки на острову. Лекарствия никакого, помочь некому. Только кипятком и отходила. Рвало тебя спервоначалу все время... Вода-то паршивая, соленая, кишка ее не принимает.

С трудом входили в поручиково сознание ласковые, тревожные слова.

Он слегка приподнялся, осмотрелся непонимающими глазами.

Кругом рыбные штабеля. Костер горит, на шомполе котелок висит, бурлит водой.

— Что такое?.. Где?..

— Ай забыл? Не узнал? Марюта я!

Тонкой прозрачной рукой поручик потер лоб.

Вспомнил, бессильно улыбнулся, прошептал:

— Да... припомнил. Робинзон и Пятница!

— Ой, опять забредил? Далась тебе пятница. Не знаю, который и день. Совсем со счету сбилась.

Поручик опять улыбнулся:

— Да не день!.. Имя такое... Есть рассказ, как человек после крушения на остров попал необитаемый. И друг у него был. Пятницей звали. Не читала никогда? — Он опустился на кожушок и закашлялся.

— Не... Сказок много читала, а этой не знаю. Ты лежи, лежи тихонько, не шебаршись. Еще опять захвораешь. А я усача сварю. Поешь, подкрепись. Почитай, всю неделю, кроме воды, ничего в рот не взял. Вишь, прозрачный стал, как свечка. Лежи!

Поручик лениво закрыл глаза. В голове у него звенело медленным хрустальным звоном. Вспомнил трубы с хрустальными колокольчиками, засмеялся тихонько.

— Ты што? — спросила Марютка.

— Так, вспомнил... Смешной сон видел, когда бредил.

— Кричал ты во сне чего! И командовал и ругался... Чего только не было. Ветер свистит, кругом пустота, одна я с тобой на острову, а ты еще не в себе. Прямо страх брал,— она зябко поежилась,— и не знаю, что делать.

— Как же ты справлялась?

— Да вот, справилась. А пуще всего боялась — помрешь ты с голоду. Кроме ж воды, ничего. Лепешки-то, что остались, все тебе в кипятке скормила. А теперь одна рыба кругом. А какая же больному человеку жратва в соленой рыбе? Ну, как завидела, что ты заворочался и глаза открываешь, отлегло.

Поручик вытянул руку. Положил тонкие, красивые, несмотря на грязь, пальцы на сгиб Марюткиной руки. Тихо погладил и сказал:

— Спасибо тебе, голубушка!

Марютка покраснела и отвела его руку.

— Не благодари!.. Не стоит спасиба. Что ж, по-твоему, дать человеку помирать? Зверюка я лесная или человек?

— Но ведь я кадет... Враг. Чего было со мной возиться? Сама еле дышишь.

Марютка остановилась на мгновение, недоуменно дернулась. Махнула рукой и засмеялась:

— Где уж враг? Руки поднять не можешь, какой тут враг? Судьба моя с тобой такая. Не пристрелила сразу, промахнулась впервой от роду, ну и возиться мне с тобой до скончания. На, покушай!

Она подсунула поручику котелок, в котором плавал жирный янтарный кусок балыка. Запахло вкусно и нежно прозрачное душистое мясо.

Поручик вытаскивал из котелка кусочки. Ел с аппетитом.

— Ужасно только соленая. Прямо в горле дерет.

— Ничего ты с ей не поделаешь. Была б вода пресная — можно вымочить, а то чистое несчастье. Рыба солена — вода солена! Попали в переплет, рыбья холера!

Поручик отодвинул котелок.

— Что? Больше не хочешь?

— Нет. Я наелся. Поешь сама.

— Ну ее к черту! Обрыдла она мне за неделю. Колом в глотке стоит.

Поручик лежал, опершись на локоть.

— Эх... Покурить бы! — сказал он с тоской.

— Покурить? Так бы и говорил. В мешке-то у Семянного махра осталась. Подмокла малость, так я ее высушила. Знала, курить захочешь. У курящего, опосля болезни, еще пуще на табак тяга. Вот, бери.

Поручик взволнованно взял кисет. Пальцы у него дрожали.

— Ты прямо золото, Маша! Лучше няньки!

— Небось без няньки жить не можешь? — сухо ответила Марютка и покраснела.

— Бумаги вот только нет. Твой этот малиновый до последней бумажки у меня все обобрал, а трубку я потерял.

— Бумаги...— Марютка задумалась.

Потом решительным движением отвернула полу кожушка, которым накрыт был сверху поручик, сунула руку в карман, вытащила маленький сверточек.

Развязала шнурок и протянула поручику несколько листков бумаги:

— Вот тебе на завертку.

Поручик взял листки, всмотрелся. Поднял на Марютку глаза. Они засияли недоумевающим синим светом.

— Да это же стихи твои! С ума ты сошла? Я не возьму!

— Бери, черт! Не рви ты мне душу, рыбья холера! — крикнула Марютка.

Поручик посмотрел на нее:

— Спасибо! Я этого никогда не забуду!

Оторвал маленький кусочек с угла, завернул махорку, закурил. Смотрел куда-то вдаль, сквозь синюю ленточку дыма, ползшую от козьей ножки.

Марютка пристально вглядывалась в него. Неожиданно спросила:

— Вот гляжу я на тебя, понять не могу. С чего зенки у тебя такие синие? Во всю жизнь нигде таких глаз не видала. Прямо синь такая, аж утонуть в них можно.

— Не знаю,— ответил поручик,— с такими родился. Многие говорили, что необыкновенный цвет.

— Правда!.. Еще как тебя в плен забрали, я и подумала: что у него за глаза такие? Опасные у тебя глаза!

— Для кого?

— Для баб опасные. В душу без мыла лезут! Растревоживают!

— А тебя растревожили?

Марютка вспыхнула.

— Ишь черт! А ты не спрашивай! Лежи, я за водой сбегаю.

Поднялась, равнодушно взяла котелок, но, выходя из-за рыбных штабелей, весело повернулась и сказала, как раньше:

— Дурень мой, синеглазенький!

Глава восьмая,
в которой ничего не нужно объяснять

Мартовское солнце — на весну поворот.

Мартовское солнце над Аралом, над синью бархатной нежит и покусывает горячими зубами, расчесывает кровь человеку.

Третий день как стал выходить поручик.

Сидел у сарайчика, грелся на солнышке, кругом посматривал глазами радостными, воскресшими, синими, как синь-море. Марютка весь остров облазила тем временем.

Возвратилась в последний день к закату радостная.

— Слышь? Завтра переберемся?

— Куда?

— Там, подале. Верст восемь отсюда будет.

— Что там такое?

— Рыбачью хибару нашла. Чистый дворец! Сухая, крепкая, даже в окнах стекла не биты. С печкой, посудины кой-какой, битой, черепки,— все сгодятся на хозяйство. А главно — полати есть. Не на земле валяться. Нам бы сразу туда дойтить.

— Кто же знал?

— Вот то-то и есть! А кроме всего, находку я сделала. Хороша находка!

— А что?

— Закуточка такая у них там, за печкой. Провизию прятали. Ну, и осталось там малость. Рис да муки с полпуда. Гниловата, а есть можно. Должно, осенью, как буря захватила, торопились убираться, забыли впопыхах. Теперь живем не тужим!

Утром перебирались на новое место. Впереди шла Марютка, нагруженная верблюдом. Все на себе тащила, ничего не позволила взять поручику.

— Ну тебя! Еще опять занеможешь. Себе дороже. Ты не бойся! Донесу! Я с виду тонкая, а здоровая.

К полудню добрались до хибарки, вычистили снег, привязали веревкой сорвавшуюся с петель дощатую дверь. Набили полную печь сазана, разожгли, со счастливыми улыбками грелись у огня.

— Лафа... Царское житье!

— Молодец, Маша. Всю жизнь тебе буду благодарен... Без тебя не выжил бы.

— Известно дело, белоручка!

Помолчала, растирая руки над огнем.

— Тепло-тепло... А что ж мы дальше делать будем?

— Да что же делать? Ждать!

— Чего ждать?

— Весны. Уже недолго. Сейчас середина марта. Еще недели две — рыбаки, верно, приедут рыбу вывозить, ну, выручат нас.

— Хорошо бы. Так на рыбе да на гнилой муке мы с тобой долго не вытянем. Недельки две продержимся, а дальше каюк, рыбья холера!

— Что у тебя присказка такая — рыбья холера? Откуда?

— Астраханская наша. Рыбаки так болтают. Это заместо чтоб ругаться. Не люблю я ругаться, а злость мутит иной раз. Вот и отвожу душу.

Она поворошила шомполом рыбу в печке и спросила:

— Ты вот мне говорил про сказку ту, насчет острова... С Пятницей. Чем зря сидеть — расскажи. Страсть я жадная до сказок. Бывало, у тети соберутся бабы, старуху Гугниху приволокут. Ей лет сто, а может, и больше было. Наполеона помнила. Как зачнет сказки говорить, я в углу так и пристыну. Дрожмя дрожу, слово боюсь проронить.

— Это про Робинзона рассказать? Забыл я наполовину. Давно уже читал.

— А ты припомни. Все, что вспомнишь, и расскажи!

— Ладно. Постараюсь.

Поручик полузакрыл глаза, вспоминая.

Марютка разложила кожушок на нарах, забралась в угол у печки.

— Иди садись сюда! Теплее тут, в уголку.

Поручик залез в угол. Печка накалилась, обдала веселым жаром.

— Ну, что ж ты? Начинай. Не терпится мне. Люблю я эти сказки.

Поручик оперся на локти. Начал:

— В городе Ливерпуле жил богатый человек. Звали его Робинзон Крузо...

— А где этот город-то?

— В Англии... Жил богатый человек Робинзон Крузо...

— Погоди!.. Богатый, говоришь? И почему это во всех сказках про богатых да про царей говорится? А про бедного человека и сказки не сложено.

— Не знаю,— недоуменно ответил поручик,— мне это и в голову никогда не приходило.

— Должно быть, богатые сами сказки писали. Это все

одно, как я. Хочу стих написать, а учености у меня для его нет. А я бы об бедном человеке написала здорово. Ничего. Поучусь вот, тогда еще напишу.

— Да... Так вот задумал этот Робинзон Крузо попутешествовать и объехать кругом всего земного шара. Поглядеть, как люди живут. И выехал из города на большом парусном корабле...

Печка потрескивала, проливался мерными каплями голос поручика.

Постепенно вспоминая, он старался рассказывать со всеми подробностями.

Марютка замерла, восхищенно ахая в самых сильных местах рассказа.

Когда поручик описывал крушение робинзоновского корабля, Марютка презрительно повела плечами и спросила:

— Что ж, значит, все, кроме его, потопли?

— Да, все.

— Должно, дурья голова капитан у них был или нализался перед крушением до чертиков. В жизнь не поверю, чтобы хороший капитан всю команду так зря загубил. Сколь у нас на Каспийском этих крушениев было, а самое большое — два-три человека потонут, а остальные, глядишь, и спаслись.

— Почему? Утонули же у нас Семянный и Вяхирь. Значит, ты плохой капитан или нализалась перед крушением?

Марютка оторопела.

— Ишь, поддел, рыбья холера! Ну, досказывай!

В момент появления Пятницы Марютка опять перебила:

— Вот, значит, почему ты меня Пятницей прозвал-то? Вроде как ты — Робинзон этот самый? А Пятница черный, говоришь, был? Негра? Я негру видела. В цирке в Астрахани был. Волосатый, губы — во! Морда страшенная! Мы за им бегали, полы складали и кричим: «На, поешь свиного уха!» Серчал здорово. Каменюгами бросался.

При рассказе о нападении пиратов Марютка сверкнула глазами на поручика:

— Десятеро на одного? Шпана, рыбья холера!

Поручик кончил.

Марютка мечтательно сжалась в комок, прильнув к его плечу. Промурлыкала дремотно:

— Вот хорошо-то. Небось много сказок еще знаешь? Ты мне так каждый день по сказке рассказывай.

— А что? Разве нравится?

— Здорово. Дрожь берет. Так вечера и скоротаем. Все время незаметней.

Поручик зевнул.

— Спать хочешь?

— Нет... Ослабел я после болезни.

— Ах ты слабенький!

Опять подняла Марютка руку и ласково провела по волосам поручика. Он удивленно поднял на нее синие шарики.

От них дохнуло лаской в Марюткино сердце. Забвенно склонилась к исхудалой щеке поручика и вдавила в небритую щетину свои огрубелые и сухие губы.

Глава девятая,

в которой доказывается, что хотя сердцу закона нет, но сознание все же определяется бытием

Сорок первым должен был стать на Марюткином смертном счету гвардии поручик Говоруха-Отрок.

А стал первым на счету девичьей радости.

Выросла в Марюткином сердце неуемная тяга к поручику, к тонким рукам его, к тихому голосу, а пуще всего к глазам необычайной сини.

От нее, от сини, светлела жизнь.

Забывалось тогда невеселое море Арал, тошнотный вкус рыбьей солони и гнилой муки, расплывалась бесследно смутная тоска по жизни, мечущейся и грохочущей за темными просторами воды. Днем делала обычное дело, пекла лепешки, варила очертевший балык, от которого припухали уже круглыми язвочками десны, изредка выходила на берег высматривать, не закрылится ли косым лётом ожидаемый парус.

Вечером, когда скатывалось с повесневшего неба жадное солнце, забивалась в свой угол на нарах, жалась, ластясь, к поручикову плечу. Слушала.

Много рассказывал поручик. Умел рассказывать.

Дни уплывали медленные, маслянистые, как волны.

Однажды, занежась на пороге хибарки, под солнцем, смотря на Марюткины пальцы, с привычной быстротой обдиравшие чешую с толстенького сазана, сказал поручик, зажмурясь и пожав плечами:

— Хм... Какая ерунда, черт побери!..

— О чем ты, милок?

— Ерунда, говорю... Жизнь вся — сплошная ерунда. Первичные понятия, внушенные идеи. Вздор! Условные значки, как на топографической карте. Гвардии поручик?.. К черту гвардии поручика. Жить вот хочу. Прожил двадцать семь лет и вижу, что на самом деле вовсе еще не жил. Денег истратил кучу, метался по всем странам в поисках какого-то идеала, а под сердцем все сосала смертная тоска от пустоты, от неудовлетворенности. Вот и думаю: если бы кто-нибудь мне сказал тогда, что самые наполненные дни проведу здесь, на дурацком песчаном блине, посреди дурацкого моря, ни за что бы не поверил.

— Как ты сказал, какие дни-то?

— Самые наполненные. Не понимаешь? Как бы тебе это рассказать понятно? Ну, такие дни, когда не чувствуешь себя враждебно противопоставленным всему миру, какой-то отделенной для самостоятельной борьбы частицей, а совершенно растворяешься в этой вот,— он широко обвел рукой,— земной массе. Чувствую сейчас, что слился с ней нераздельно. Ее дыхание — мое дыхание. Вот прибой дышит: шурф, шурф... Это не он дышит, это я дышу, душа моя, плоть.

Марютка отложила нож.

— Ты вот говоришь по-ученому, не все слова мне внятны. А я по-простому скажу — счастливая я сейчас.

— Разными словами, а выходит одно и то же. И сейчас мне кажется: хорошо б никуда не уходить с этого нелепого горячего песка, остаться здесь навсегда, плавиться под мохнатым солнцем, жить зверюгой радостной.

Марютка сосредоточенно смотрела в песок, будто припоминая что-то нужное. Виновато, нежно засмеялась.

— Нет... Ну его!.. Я здесь не осталась бы. Лениво больно, разомлеть под конец можно. Счастья своего и то показать некому. Одна рыба дохлая вокруг. Скорей бы рыбалки на лову сбирались. Поди конец марта на носу. Стосковалась я по живым людям.

— А мы разве не живые?

— Живые-то живые, а как муки на неделю осталась самая гниль, да цинга заест, тогда что запоешь? А кроме того, ты возьми в толк, миленький, что время не такое, чтобы на печке сидеть. Там наши поди бьются, кровь проливают. Каждая рука на счету. Не могу я в таком случае в покое прохлаждаться. Не затем армейскую клятву давала.

Поручиковы глаза всколыхнулись изумленно.

— Ты что же? Опять в солдаты хочешь?

— А как же?

Поручик молча повертел в руках сухую щепочку, отодранную от порога. Пролил слова ленивым густым ручейком:

— Чудачка! Я тебе вот что хотел сказать, Машенька: очертенела мне вся эта чепуха. Столько лет кровищи и злобищи. Не с пеленок же я солдатом стал. Была когда-то и у меня человеческая, хорошая жизнь. До германской войны был я студентом, филологию изучал, жил милыми моими, любимыми, верными книгами. Много книг у меня было. Три стенки в комнате доверху в книгах. Бывало, вечером за окном туман петербургский сырой лапой хватает людей и разжевывает, а в комнате печь жарко натоплена, лампа под синим абажуром. Сядешь в кресло с книгой и так себя почувствуешь, как вот сейчас, без всяких забот. Душа цветет, слышно даже, как цветы шелестят. Как миндаль весной, понимаешь?

— М-гм,— ответила Марютка, насторожившись.

— Ну, и в один роковой день это лопнуло, разлетелось, помчалось в тартарары... Помню этот день, как сейчас. Сидел на даче, на террасе, и читал, книгу даже помню. Был грузный закат, багровый, заливал все кровяным блеском. С поезда из города приехал отец. В руке газета, сам взволнован. Сказал одно только слово, но в этом слове была ртутная, мертвая тяжесть... Война. Ужасное было слово, кровяное, как закат. И отец прибавил: «Вадим, твой прадед, дед и отец шли по первому зову родины. Надеюсь, ты?..» Он не напрасно надеялся. Я ушел от книг. И ушел ведь искрение тогда...

— Чудило! — кинула Марютка, пожав плечами.— Что же, к примеру, если мой батька в пьяном виде башку об стенку разгвоздил, так и я тоже обязана бабахаться? Что-то непонятно мне такое дело.

Поручик вздохнул.

— Да... Вот этого тебе не понять. Никогда на тебе не висел этот груз. Имя, честь рода. Долг... Мы этим дорожили.

— Ну?.. Так я своего батьку, покойника, тоже люблю крепко, а коли ж он пропойца дурной был, то я за его пятками тюпать не обязана. Послал бы прадедушку к прабабушке!

Поручик криво и зло усмехнулся.

— Не послал. А война доконала. Своими руками живое сердце свое человеческое на всемирном гноище, в паршивой

свалке утопил. Пришла революция. Верил в нее, как в невесту... А она... Я за свое офицерство ни одного солдата пальцем не тронул, а меня дезертиры на вокзале в Гомеле поймали, сорвали погоны, в лицо плевали, сортирной жижей вымазали. За что? Бежал, пробрался на Урал. Верил еще в родину. Воевать опять за попранную родину. За погоны свои обесчещенные. Повоевал и увидел, что нет родины, что родина такая же пустошь, как и революция. Обе кровушку любят. А за погоны и драться не стоит. И вспомнил настоящую, единственную человеческую родину — мысль. Книги вспомнил, хочу к ним уйти и зарыться, прощения у них выпросить, с ними жить, а человечеству за родину его, за революцию, за гноище чертово — в харю наплевать.

— Так-с!.. Значит, земля напополам трескается, люди правду ищут, в кровях мучаются, а ты байбаком на лавке за печью будешь сказки читать?

— Не знаю... И знать не хочу! — крикнул исступленно поручик, вскакивая на ноги.— Знаю одно — живем мы на закате земли. Верно ты сказала: «Напополам трескается». Да, трескается, трещит старая сволочь! Вся опустошена, выпотрошена. От этой пустоты и гибнет. Раньше была молодой, плодоносной, неизведанной, манила новыми странами, неисчислимыми богатствами. Кончилось. Больше открывать нечего. Вся человеческая хитрость уходит на то, чтобы сохранить накопленное, протянуть еще века, года, минутки. Техника. Мертвые числа. И мысль, обеспложенная числами, бьется над вопросами истребления. Побольше истребить людей, чтобы оставшимся надольше хватило набить животы и карманы. К черту!.. Не хочу никакой правды, кроме своей. Твои большевики, что ли, правду открыли? Живую человеческую душу ордером и пайком заменить? Довольно! Я из этого дела выпал! Больше не желаю пачкаться!

— Чистотел? Белоручка? Пусть другие за твою милость в дерьме копаются?

— Да! Пусть! Пусть, черт возьми! Другие — кому это нравится. Слушай, Маша! Как только отсюда выберемся, уедем на Кавказ. Есть у меня там под Сухумом дачка маленькая. Заберусь туда, сяду за книги, и все к черту. Тихая жизнь, покой. Не хочу я больше правды — покоя хочу. И ты будешь учиться. Ведь хочешь же ты учиться? Сама жаловалась, что неученая. Вот и учись. Я для тебя все сделаю. Ты меня от смерти спасла, а это незабвенно.

Марютка резко встала. Процедила, как ком колючек бросила:

— Значит, мне так твои слова понимать, чтобы завалиться с тобой на пуховике спариваться, пока люди за свою правду надрываются, да конфеты жрать, когда каждая конфета в кровях перепачкана? Так, что ли?

— Зачем же так грубо? — тоскливо сказал поручик.

— Грубо? А тебе все по-нежненькому, с подливочкой сахарной? Нет, погоди! Ты вот большевицкую правду хаял. Знать, говоришь, не желаю. А ты ее знал когда-нибудь? Знаешь, в чем ей суть? Как пóтом соленым да слезами людскими пропитана?

— Не знаю,— вяло отозвался поручик.— Странно мне только, что ты, девушка, огрубела настолько, что тебя тянет идти громить, убивать с пьяными, вшивыми ордами.

Марютка уперлась ладонями в бедра. Выбросила:

— У них, может, тело завшивело, а у тебя душа насквозь вшивая! Стыдоба меня берет, что с таким связалась. Слизняк ты, мокрица паршивая! «Машенька, уедем на постельке валяться, жить тихонько»,— передразнила она.— Другие горбом землю под новь распахивают, а ты? Ах и сукин же сын!

Поручик вспыхнул, упрямо сжал тонкие губы.

— Не смей ругаться!.. Не забывайся ты... хамка!

Марютка шагнула и поднятой рукой наотмашь ударила поручика по худой, небритой щеке.

Поручик отшатнулся, затрясся, сжав кулаки. Выплюнул отрывисто:

— Счастье твое, что ты женщина! Ненавижу... Дрянь!..

И скрылся в хибарке.

Марютка растерянно посмотрела на зудящую ладонь, махнула рукой и сказала неведомо кому:

— Ишь до чего нравный барин! Ах ты, рыбья холера!

Глава десятая,

в которой поручик Говоруха-Отрок слышит грохот погибающей планеты, а автор слагает с себя ответственность за развязку

Три дня после ссоры не разговаривали поручик и Марютка. Но не уйдешь друг от друга на острове. И помирила весна. Катилась она дружным, жаропышущим натиском.

Уже давно под ударами золотых копыт лопнула тонкая

снежная броня на острове. Стал он мягким, ярко-желтым, канареечным на темном стекле густой воды.

Песок в полдень обжигал ладони, и больно было до него дотронуться.

В грузной синеве золотым пылающим колесом ярилось промытое талыми ветрами солнце.

От солнца, от талого ветра, от начинавшей мучить цинги оба совсем ослабели. Не до ссор было.

По целым дням валялись на берегу в песке, неотрывно смотрели на густое стекло, искали воспаленными глазами паруса.

— Нет больше моего терпения! Ежели через три дня рыбалок не будет, ей-пра, пулю себе пущу! — простонала отчаянно Марютка, вглядываясь в равнодушную тяжелую синь.

Поручик засвистел легонько.

— Меня слизняком и мокрицей называла, а сама сдаешь? Терпи — атаманом будешь! Тебе же одна дорога — в атаманы разбойничьи.

— А ты чего старое поминаешь? Ну и заноза! Было и сплыло. Ругала потому, что стоило ругать. Распалилось сердце, что тряпка ты мокрая, цыпленок. А мне и обидно! Навязался же ты на мою голову, смутил, все нутро вытянул, черт синеглазый.

Поручик с хохотком опрокинулся спиной в горячий песок, задрыгал ногами.

— Ты чего? Сдурел? — заворошилась Марютка.

Поручик хохотал.

— Эй, чумелый! Да говори же!

Но поручик не унимался, пока Марютка не ткнула кулаком в бок.

Поднялся, вытер смешливые слезинки на ресницах.

— Ну, чего ржешь?

— Хорошая ты девушка, Марья Филатовна. Кого угодно развеселишь. Мертвец с тобой плясать пойдет!

— А то? По-твоему, лучше вихляться, как бревну в полынье, ни к тому бережку, ни к другому? Чтоб самому мутно было и другим тошно?

Поручик снова взгнул смехом. Похлопал Марютку по плечу.

— Исполать тебе, царица амазонская. Пятница моя любезная. Перевернула ты меня, жизненного эликсира влила. Не хочу больше вихляться, как бревно в полынье, по твоему образному словарю. Сам вижу, что рано мне еще ду-

мать о возврате к книгам. Нет, пожить еще нужно, поскрипеть зубами, покусаться по-волчьи, чтоб кругом клыки чуяли!

— Что? Неужели в самом деле поумнел?

— Поумнел, голубушка! Поумнел! Спасибо — научила! Если мы за книги теперь сядем, а вам землю оставим в полное владение, вы на ней такого натворите, что пять поколений кровавыми слезами выть будут. Нет, дура ты моя дорогая. Раз культура против культуры, так тут уж до конца. Пока...

Он оборвал, захлебнувшись.

Ультрамариновые шарики уперлись в горизонт, сжались радостным пламенем.

Вытянул руки и сказал тихо, дрогнувшим голосом:

— Парус.

Марютка вскочила, подброшенная внутренним толчком, и увидела:

Далеко-далеко, на индиговой черточке горизонта, вспыхивала, дрожала, колебалась белая искорка — треплемый ветром парус.

Марютка ладонями туго сжала задрожавшую грудь, впилась глазами, не веря еще долгожданному.

Сбоку подпрыгнул поручик, схватил руки, отнял их от груди, заплясал, завертев Марютку вокруг себя.

Плясал, высоко взбрасывая тонкие ноги в изорванных штанах, и пел пронзительно:

Бе-ле-ет па-рус о-ди-но-ки-кий
В ту-ма-не мо-ря го-лу-бом-бом-бом...
Бим-бам. Бом-бом,
Голу-бом!

— Ну тебя, дурной! — вырвалась запыхавшаяся, радостная Марютка.

— Машенька! Дурища моя дорогая, царица амазонская. Спасены ведь! Спасены!

— Черт, шалый! Небось сам теперь захотел с острова в жизнь людскую?

— Захотел, захотел! Я же тебе говорил, что захотел!

— Постой!.. Подать им знак надо! Позвать!

— Чего звать? Сами подъедут.

— А вдруг на другой остров едут? Немаканы говорили: тут островов гибель. Могут мимо пройти. Тащи винтовку из хибары!

Поручик бросился в хибару. Выбежал, высоко взбрасывая винтовку.

— Не дури,— крикнула Марютка.— Жарь три штуки подряд.

Поручик приставил приклад к плечу. Выстрелы глухо рвали стеклянную тишину, и от каждого удара поручик шатался и только сейчас понял, до чего ослабел.

Парус уже был виден ясно. Большой, розовато-желтый, он несся по воде крылом веселой птицы.

— Черт-и-што,— проворчала, вглядываясь, Марютка.— Что оно за суденышко такое? На рыбалку не похоже, здоровое больно.

На судне услыхали выстрелы. Парус шатнулся, перелетел на другую сторону и, накренясь, понесся линией к берегу.

Под розово-желтым крылом выплыл из сини черный низкий корпус.

— Не иначе, должно быть, объездчика промыслового бот. Только кто ж на нем мотается в такую пору, не пойму? — бормотала тихонько Марютка.

Саженях в пятидесяти бот снова лег на левый галс. На корме приподнялась фигура и, приставив руки рупором, закричала.

Поручик дернулся, перегнулся вперед, бросил с маху в песок винтовку и в два прыжка очутился у самой воды. Протянул руки, ополоумело закричал:

— Урр-ра!.. Наши!.. Скорей, господа, скорей!

Марютка воткнула зрачки в бот и увидела... На плечах человека, сидевшего у румпеля, золотом блестели полоски.

Метнулась всполошенной наседкой, задергалась.

Память, полыхнув зарницей в глаза, открыла кусок:

Лед... Синь-вода... Лицо Евсюкова. Слова: «На белых нарветесь ненароком, живым не сдавай».

Ахнула, закусила губы и схватила брошенную винтовку. Закричала отчаянным криком:

— Эй ты... кадет поганый! Назад!.. Говорю тебе — назад, черт!

Поручик махнул руками, стоя по щиколки в воде.

Внезапно он услыхал за спиной оглушительный, торжественный грохот гибнущей в огне и буре планеты. Не успел понять почему, прыгнул в сторону, спасаясь от катастрофы, и этот грохот гибели мира был последним земным звуком для него.

Марютка бессмысленно смотрела на упавшего, бессознательно притопывая зачем-то левой ногой.

Поручик упал головой в воду. В маслянистом стекле

расходились красные струйки из раздробленного черепа.

Марютка шагнула вперед, нагнулась. С воплем рванула гимнастерку на груди, выронив винтовку.

В воде на розовой нити нерва колыхался выбитый из орбиты глаз. Синий, как море, шарик смотрел на нее недоуменно-жалостно.

Она шлепнулась коленями в воду, попыталась приподнять мертвую, изуродованную голову и вдруг упала на труп, колотясь, пачкая лицо в багровых сгустках, и завыла низким, гнетущим воем:

— Родненький мой! Что ж я наделала? Очнись, болезный мой! Синегла-азенький!

С врезавшегося в песок баркаса смотрели остолбенелые люди.

Ленинград, ноябрь 1924 г.

СОДЕРЖАНИЕ

Борис Андреевич
Лавренев

СОРОК ПЕРВЫЙ

Рассказы

Редактор **И. Плахотникова**
Художник **А. Сергеева**
Художественный редактор **Г. Саленков**
Технический редактор **Л. Демьянова**
Корректор **Г. Панова**

ИБ № 4756
Сдано в набор 04.09.86. Подписано к печати 28.11.86. Формат 84x108/32. Гарнитура литер. Печать высокая. Бумага тип. № 2. Усл. печ. л. 5,04. Усл. краск.-отт. 5,46. Уч.-изд. л. 5,32. Тираж 500 000 экз. Заказ 229. Цена 45 коп.

Издательство «Современник» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли и Союза писателей РСФСР
123007, Москва, Хорошевское шоссе, 62

Полиграфическое предприятие «Современник» Росполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
445043, Тольятти, Южное шоссе, 30


45 коп.